

**ЕВГЕНИЙ
ЗАМЯТИН**

ЛОВЕЦ
ЧЕЛОВЕКОВ
(СБОРНИК)

Русская классика (АСТ)

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

Ловец человеков (сборник)

«Public Domain»

1918

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Замятин Е. И.

Ловец человек (сборник) / Е. И. Замятин — «Public Domain»,
1918 — (Русская классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-101668-5

В данный сборник вошли наиболее известные повести и рассказы Замятина. Среди них дебютный рассказ «Один», первая и принесшая автору огромный успех повесть «Уездное», политическая военная сатира «На куличиках», автобиографический рассказ «Три дня», повесть-фарс «Алатырь», иронические, сатирические повести, высмеивающие коммерческий дух английского общества, – «Островитяне» и «Ловец человек», а также многие другие.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-101668-5

© Замятин Е. И., 1918
© Public Domain, 1918

Содержание

Уездное	6
1. Четырехугольный	6
2. С собаками	8
3. Цыплята	10
4. Смилостивился	11
5. Жисть	13
6. В чуриловском трактире	15
7. Апельсинное дерево	17
8. Тимоша	19
9. Ильин день	21
10. Сумерки в келье	24
11. Брокеровская баночка	26
12. Монашек старенький	27
13. Апросина избушка	28
14. Вытекло веселое вино	30
15. У Иванихи	32
16. Ничем не проймешь	33
17. Семен Семеныч Моргунов	36
18. В свидетелях	38
19. Времена	39
20. Веселая вечерня	41
21. Исправниковы хлопоты	43
22. Шесть четвертных	45
23. Мураш надоедный	46
24. Прощайте	47
25. Утром в базарный день	48
26. Ясные пуговицы	49
На куличках	51
1. Божий зевок	51
2. Картофельный Рафаэль	53
3. Петяшку крестят	56
4. Голубое	58
5. Сквозь Гуслийкина	60
6. Лошадиный корм	62
7. Человечьи кусочки	65
8. Соната	68
9. Два Тихменя	70
10. Солдатушки, бравы ребятушки	73
11. Великая	75
12. Милостивец	78
13. Кладь тяжелая	80
14. Снежный узор	82
15. Нечистая сила	84
16. Пружинка	87
17. Клуб ланцепупов	89
18. Альянс	91

19. Мученики	93
20. Пир на весь мир	95
Конец ознакомительного фрагмента.	97

Евгений Иванович Замятин

Ловец человеков

Уездное

1. Четырехугольный

Отец бесперечь пилит: «Учись да учись, а то будешь, как я, сапоги тачать».

А как тут учиться, когда в журнале записан первым, и, стало быть, как только урок, сейчас же и тянут:

– Барыба Анфим. Пожалуйте-с.

И стоит Анфим Барыба, потеет, нахлобучивает и без того низкий лоб на самые брови.

– Опять ни бельмеса? А-а-ах, а ведь малый-то ты на возрасте, замуж пора. Садись, брат.

Садился Барыба. И сидел основательно – года по два в классе. Так испрохвала, не торопись, добрался Барыба и до последнего.

Было ему о ту пору годов пятнадцать, а то и побольше. Высыпали уж, как хорошая озимь, усы, и бегал с другими ребятами на Стрелецкий пруд – глядеть, как бабы купаются. А ночью после – хоть и спать не ложись: такие ползут жаркие сны, такой хоровод заведут, что...

Встанет Барыба наутро смурый и весь день колобродит. Зальется до ночи в монастырский лес. Училище? А, да пропадай оно пропадом!

Вечером отец возьмется его бузовать: «Опять сбежал, неслух, заворотень?» А он хоть бы что, совсем оголтелый, зубы стиснет, не пикнет. Только еще колючей повыступят все углы чудного его лица.

Уж и правда: углы. Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжкие железные челюсти, широченный, четырехугольный рот и узенький лоб: как есть утюг, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых и углов. Но так одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад какой-то выходит: может, и дикий, может, и страшный, а все же лад.

Ребята побаивались Барыбы: зверюга, под тяжелую руку в землю вобьет. Дразнили из-за угла, за версту. Зато, когда голоден бывал Барыба, кормили его булками и тут же потешались властью.

– Эй, Барыба, за полбулки разгрызи.

И суют ему камушки, выбирают, какие потверже.

– Мало, – угрюмо бурчит Барыба, – булку.

– Вот черт, едун! – но найдут и булку. И начнет Барыба на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их железными своими давилками – знай подкладывай! Потеха ребятам, диковина.

Забавы забавами, а как экзамены настали, пришлось и забавникам за книги засесть, даром что зеленый май на дворе.

Восемнадцатого, на царицу Александру, по закону экзамен – первый из выпускных. Вот, вечером как-то, отец отложил в сторону дратву и сапог, очки снял да и говорит:

– Ты это помни, Анфимка, заруби на носу. Коли и теперь не выдержишь – со двора сгоню.

Как будто чего уж лучше: три дня подготовки. Да на грех завязалась у ребят орлянка – ох и завлекательная же игра! Два дня не везло Анфимке, весь свой капитал проиграл: семь гривен и новый пояс с пряжкой. Хоть топись. Да на третий день, слава те Господи, все вернул и чистых еще выиграл больше полтинника.

Восемнадцатого, понятно, Барыбу вызвали первым. Ни гугу уездники, ждут: ну, сейчас поплывет, бедняга.

Вытянул Барыба – и уставился в белый листок билета. От белизны этой и от страха слегка затошнило. Ахнули куда-то все слова: ни одного.

На первых партах подсказчики зашептали:

– Тигр и Ефрат... Сад, в котором жили... Месопотамия. Ме-со-по-та... Черт глухой!

Барыба заговорил – одно за другим стал откалывать, как камни, слова – тяжкие, редкие.

– Адам и Ева. Между Тигром и... этим... Ефратом. Рай был огромный сад. В котором водились месопотамы. И другие животные...

Поп кивнул, как будто очень ласково. Барыба приободрился.

– Это кто же-с месопотамы-то? А, Анфим? Объясни-ка нам, Анфимушка.

– Месопотамы... Это такие. Допотопные звери. Очень хищные. И вот в раю они. Жили рядом...

Поп хрюкал от смеха и прикрывался отогнутой кверху бородой, ребята полегли на парты.

* * *

Домой Барыба не пошел. Уж знал – отец человек правильный, слов не пускает на ветер. Что сказано, то и сделает. Разве к тому же еще и ремнем хорошенько взбучит.

2. С собаками

Жили-были Балкашины, купцы почтенные, на заводе своем солод варили-варили, да в холерный год все как-то вдруг и примерли. Сказывают, далеко гдей-то в большом городе живут наследники ихние, да вот все не едут. Так и горюет-пустует выморочный дом. Похилилась деревянная башня, накрест досками заколотили окна, засел бурьян во дворе. Через забор швыряют на балкашинский двор слепых щенят да котят, под забором с улицы лазят за добычей бродячие собаки.

Тут вот и поселился Барыба. Облюбовал старую коровью закуту, благо двери не заперты и стоят в закуте ясли, из досок сколочены: чем не кровать? Благодать Барыбе теперь: учиться не надо, делай, что тебе в голову взбредет, купайся, пока зубами не заляскаешь, за шарманщиком хоть целый день по посаду броди, в монастырском лесу – днюй и ночуй.

Все бы хорошо, да есть скоро нечего стало. Рублишка какого-нибудь там надолго ли хватит?

Стал Барыба за поживой ходить на базар. С нескладной звериной ловкостью, длиннорукий, спрятавшись внутрь себя и выглядывая исподлобья, шнырял он между поднятых кверху белых оглобель, жующих овес лошадей, без усталости молотящих языком баб: чуть которая-нибудь зазевалась матрена – ну, и готово, добыл себе Барыба обед.

Не вывезет на базаре – побежит Барыба в Стрелецкую слободу. Где пешком, где ползком – рыщет по задкам, загуменникам, огородам. Уедливый запах полыни щекочет ноздри, а чихнуть – Боже избави: хозяйюшка вон она – вон, грядку полет, и ныряет в зелени красный платок. Наберет Барыба картошки, моркови, испечет дома – на балкашинском дворе, ест, обжигаясь, без соли – вот вроде как будто и сыт. Не до жиру, конечно: быть бы живу.

Не задастся, не повезет иной день – сидит Барыба голодный и волчьими, завистливыми глазами глядит на собак: хрустят костью, весело играют костью. Глядит Барыба...

* * *

Дни, недели, месяцы. Ох, и осточертело же с собаками голодными жить на балкашинском дворе! Зачиврел, зачерствел Барыба, оброс, почернел; от худобы еще жестче углами выперли челюсти и скулы, еще тяжелей, четырехугольней стало лицо.

Убежать бы от собачьей жизни. Людей бы, по-людски бы чего-нибудь: чаю бы горяченького попить, под одеялом поспать.

Бывали дни – целый день Барыба лежал в закуте своей, ничком на соломе. Бывали дни – целый день Барыба метался по двору балкашинскому, искал людей, людского чего-нибудь.

На соседнем, чеботаревском дворе – с утра народ кожемяки в кожаных фартуках, возчики с подводами кож. Увидят – чей-то глаз вертится в заборной дыре, ширнут кнутовищем: – Эй, кто там?

– Ай хозяин-дворовой остался на балкашинском дворе?

Барыба – прыжками волчиными – в закуту к себе, в солому, и лежит. Ух, попадись ему возчики эти самые: уж он бы им – уж он бы их...

С полудня на чеботаревском дворе – ножами на кухне стучат, убоиной жареной пахнет. Инда весь затрясется Барыба у щелки у своей у заборной и не отлипнет потуда, покуда обедать там не кончат.

Кончат обедать – как будто и ему полегче станет. Кончат, и выползает на двор Чеботариха сама: красная, наседались, от перекорма ходить не может.

– У-ух... – железом по железу – заскрипит зубами Барыба.

По праздникам над балкашинским двором, на верху переулочка, звонила Покровская церковь – и от звона было еще лютее Барыбе. Звонит и звонит, в уши гудит, перезванивает...

«Да ведь вот же куда – в монастырь, к Евсею!» – осенило звоном Барыбу.

Малым мальчишкой еще, после порки бегивал Барыба к Евсею. И всегда, бывало, чаем напоит Евсей, с кренделями с монастырскими. Поит – а сам приговаривает, так что-нибудь, абы бы утешить:

– Эх, малый! Меня намедни игумен за святые власы схватил, я и то... Эх, мал... А ты ревешь?

Веселый прибежал в монастырь Барыба: ушел теперь от собак балкашинских.

– Отец Евсей дома?

Послушник прикрыл рот рукой, загоготал:

– Во-она! Его и с гончими не разыщешь: запил, всю неделю в Стрельцах крутит отец Евсей.

Нету Евсея. Конец, больше некуда. Опять на балкашинский двор...

3. Цыплята

После всенощной либо после обедни догонит Чеботариху батюшка Покровский, головой покачает и скажет:

– Неподобно это, мать моя. Ходить нужно, проминаж делать. А то, гляди-ка, плоть совсем одолеет.

А Чеботариха на линейке своей расплзется, как тесто, и, губы поджавши, скажет:

– Никак ни можно, батюшка, бизпридстанно биение сердца.

И катит Чеботариха дальше по пыли, облепляя линейку – одно целое с ней, грузное, плывущее, рессорное. Так, на своих ногах без колес, – никто Чеботариху на улице и не видел. Уж чего ближе – до бани ихней чеботаревской (завод кожевенный и баню торговую муж ей оставил), так и то на линейке ездила, по пятницам – в бабий день.

И потому линейка эта самая, и мерин полово-пегий, и кучер Урванка – у Чеботарихи в большом почете. А уж особо Урванка: кучерявый, силища, черт, и черный весь – цыган он был, что ли. Закопченный какой-то, приземистый, жилистый, весь как узел из хорошей веревки. Поговаривали, что он, мол, у Чеботарихи не только что в кучерах. Да из-под полы говорили, громко-то боялись: попадись-ка к нему, к Урванке, – взлущует, брат, так, что... Человека до полусмерти избить – Урванке первое удовольствие: потому – самого очень бивали, в конокрадах был.

А вот была-таки и любовь у Урванки: лошадей он любил и кур. Лошадей скребет-скребет, бывало, гриву своим медным гребнем чешет, а то разговаривать с ними возьмется на каковском-то языке. Может, и правда – нехристь был?

А кур любил Урванка за то, что весною были они цыплятами – желтыми, кругленькими, мягкими. Гоняется, бывало, за ними по всему по двору: ути-ути-ути! Под водовозку залезет, под крыльцо заползет на карачках – а уж изловит, на руку посадит – и первое ему удовольствие – духом цыпленка греть. И так, чтобы рожи его о ту пору никто не видал. Бог его знает, какая она бывала. Так, не поглядевши, и не представить: Урванка этот самый – и цыпленок. Чудно!

Вышло так на горе Барыбино, что и он цыплят Урванкиных полюбил: вкусны очень, повадился их таскать. Другого, третьего нет – заметил Урванка. А куда запропастились цыплята – и ума не приложит. Хорек разве завелся?

После полдён лежит как-то Урванка под сараем в телеге. Жарынь, в дрему клонит. Цыплята – и то под сарай спрятались, в тень у стеночки присели, глаза отонком закрыли, носом клюют.

И не видят, бедняги, что доска сзади отодрана, и тянется через дыру, тянется к ним рука. Цоп – и завершал, затекал цыпленок в Барыбином кулаке.

Вскочил, заорал Урванка. Мигом перемахнул через забор.

– Держи, держи его, держи вора!

Дикий звериный бег. Добежал, запятился Барыба в свои ясли, залез под солому, но Урванка нашел и там. Вытащил, поставил на ноги.

– Ну, погоди же ты у меня! Я тебе – за цыплят за моих...

И поволок за шиворот – к Чеботарихе: пусть уж она казнь вору придумает.

4. Смилоствился

Кухарку – Анисью толстомордую прогнала Чеботариха. За что? А за то самое, чтобы к Урванке не подкатывалась. Прогнала, а теперь вот хоть разорвись. Нету по всему посаду кухарок. Пришлось взять Польшку – так, девчонку ледащую.

И вот в Покровской церкви к вечерне вызванивали, Польшка эта самая в зальце пол мела, посыпав спитым чаем, как Чеботариха учила. А Чеботариха сама тут же сидела на крытом кретоном диване и помирала от скуки, глядя в стеклянную мухоловку: в мухоловке – квас, а в квасу утопились со скуки мухи. Чеботариха зевала, крестила рот. «Ох, Господи-батюшки, помилуй...»

И смилоствился: какой-то топот и гвалт в сенях – и Урванка впихнул Барыбу. Так оторопел Барыба – увидел Чеботариху самое, – что и вырваться перестал, только глаза, как мыши, метались по всем углам.

Про цыпляточек Чеботариха услышала – раскипелась, слюнями забрызгала.

– На цыпляточек, на андельчиков Божиих, руку поднял? Ах, злодей, ах, негодник! Полюшка, веник неси. Неси, неси, и знать ничего не хочу!

Урванка зубы оскалил, саданул сзади коленкой – и мигом на полу Барыба. Закусался было, змеем завился – да куда уж ему против Урванки-черта: разложил, оседлал, штаны дырявые мигом содрал с Барыбы и ждал только слова Чеботарихина – расправу начать.

А Чеботариха – от смеху слова-то и не могла сказать, такая смехота напала. Насилу уж раскрыла глаза: чтой-то они там на полу затихли?

Раскрыла – и оступился смех, ближе нагнулась к напряженному, зверино-крепкому телу Барыбы.

– Уйди-кось, Урван. Слезь, говорю, слезь! Дай поспрошать его толком... – на Урванку Чеботариха не глядела, отвела глаза в угол.

Медленно слез Урванка, на пороге – обернулся, со всех сил хлопнул дверью.

Барыба вскочил, метнулся скорей за штанами: батюшки, от штанов-то одни лохмоты! Ну, бежать без оглядки...

Но Чеботариха крепко держала за руку:

– Вы чьих же это, мальчик, будете?

Еще оттопыривала нижнюю губу, вместо «мальчик» сказала «мыльчик», еще напускала важность, но уж что-то другое учуял Барыба.

– Са-сапожников я... – и сразу вспомнил всю свою жизнь, заскулил, завыл. – За экзамен меня отец прогнал, я жи-ил... на бал... На балкаши-и...

Всплеснула Чеботариха руками, запела сладко-жалобно:

– Ах, сиротинушка ты моя, ах, несчастная! Из дому – сына родного, а? Тоже отец называется...

Пела – и за руку волокла куда-то Барыбу, и тоскливо-покорно Барыба шел.

– ...И добру-то поучить тебя некому. А враг-то – вон он: украдь да украдь цыпленочка – верно?

Спальня. Огромная, с горою перин, кровать. Лампадка. Поблескивают ризы у икон.

На какой-то коврик пихнула Барыбу:

– На коленки, на коленки-то стань. Помолись, Анфимушка, помолись. Господь милосливый, он простит. И я прощу...

И сама где-то осела сзади, яростно зашептала молитву. Обалдел, не шевелясь стоял на коленях Барыба. «Встать бы, уйти. Встать...»

– Да ты что ж это, а? Как тебя креститься-то учили? – схватила Чеботариха Барыбину руку. – Ну, вот так вот: на лоб, на живот... – облепила сзади, дышала в шею.

Вдруг, неожиданно для себя, обернулся Барыба и, стиснув челюсти, запустил глубоко руки в мягкое что-то, как тесто.

– Ах ты етакой, а? Да ты что ж это, вон что, а? Ну, так уж и быть, для тебя согрешу, для сиротинки.

Потонул Барыба в сладком и жарком тесте.

На ночь Полька ему постелила войлок на рундуке в передней. Помотал головой Барыба: ну и чудеса на свете. Уснул сытый, довольный.

5. Жисть

Да, тут уж не то что на балкашинском дворе жизнь. На всем на готовеньком, в спокойе, на мягких перинах, в жарко натопленных старновкою комнатах. Весь день бродит в сладком безделье. В сумерках прикорнуть на лежаночке рядом с мурлыкающим во все тяжкие Васькой. Есть до отвалу. Эх, жисть!

Есть до того, что в жар бросит, до поту. Есть с утра до вечера, живот в еде класть. Так уж у Чеботарихи заведено.

Утром – чай, с молоком топленным, с пышками ржаными на юраге. Чеботариха в ночной кофте белой (не очень уж, впрочем), голова косынкой покрыта.

– И что это в косынке вы всё? – скажет Барыба.

– То-то тебя учили-то! Да нетто можно женщине простоволосой ходить? Чай, я не девка, ведь грех. Чай, венцом покрытая с мужем жила. Это непокрытые которые живут, непутевые...

А то другой какой разговор заведут пользительный для еды: о снах, о соннике, о Мартыне Задеке, о приметах да о присухах разных.

Туда-сюда – ан, глядь, уже двенадцатый час. Полудновать пора. Студень, щи, сомовина, а то сазан соленый, кишки жареные с гречневой кашей, тробуха с хреном, моченые арбузы да яблоки, да и мало ли там еще что.

В полдень – ни спать, ни купаться на реке нельзя: бес-то полуденный вот он – как раз и прихватит. А спать, конечно, хочется, нечистый блазнит, зевоту нагоняет.

Со скуки зеленой пойдет Барыба на кухню, к Польке: дура-дура, а все жив человек. Разыщет там кота, любимца Полькина, и давай его в сапог сажать. Визг, содом на кухне. Полька, как угорелая, мыкается кругом.

– Анфим Егорыч, Анфим Егорыч, да отпустите вы Васеньку, Христа ради!

Скалит зубы Анфимка, пихает кота еще глубже. И Полька умоляет уж Васеньку:

– Васенька, ну, не плачь, ну, потерпи, ребеночек, потерпи! Сейчас, сейчас отпустит.

Истошным голосом кричит кот. У Польки – глаза круглые, косенка наперед перевалилась, тянет за рукав Барыбу слабой своей рукой.

– Уйд-ди, а то самое сапогом так вот и шкрыкну!

Запустил в угол Барыба сапог вместе с котом и доволен, грохочет-громыхает по ухабам телегой.

* * *

Ужинали рано, в девятом часу. Принесет Полька еду – и отсылает ее Чеботариха спать, чтобы глаз не мозолила. Потом вынимает из горки графинчик.

– Выкушайте, Анфимушка, выкушайте еще рюмочку.

Молча пьют. Тоненько пищит и коптит лампа. Долго никто не видит.

«Коптит. Сказать бы?» – думает Барыба.

Но не повернуть тонущие мысли, не выговорить.

Чеботариха подливает ему и себе. Под тухнущим светом лампы – в одно тусклое пятно стирается у ней все лицо. И виден, и кричит только один жадный рот – красная мокрая дыра. Все лицо – один рот. И все ближе к Барыбе запах ее потного, липкого тела.

Долго, медленно умирает в тоске лампа. Черный снег копоти летает в столовой. Смрад.

А в спальне – лампадка, мельканье фольговых риз. Раскрыта кровать, и на коврикe возле бьет Чеботариха поклоны.

И знает Барыба: чем больше поклонов, чем ярее замаливает она грехи, тем дольше будет мучить его ночью.

«Забиться бы куда-нибудь, залезть в какую-нибудь щель тараканом...»
Но некуда: двери замкнуты, окно запечатано тьмой.

* * *

Нелегкая, что и говорить, у Барыбы служба. Да зато уж Чеботариха в нем все больше, день ото дня, души не чаёт. Такую он силу забрал, что только у Чеботарихи теперь и думы, чем бы это еще такое Анфимушку ублажить.

– Анфимушка, еще тарелочку скушай...

– Ох, и чтой-то стыд на дворе ноне! Анфимушка, дай-ка я тебе шарфик подвяжу, а?

– Анфимушка, ай опять живот болит? Вот грехи-то! На-кося, вот водка с горчицей да с солью, выпей – первое средство.

Сапоги-бутылки, часы серебряные на шейной цепочке, калоши новые резиновые – и ходит Барыба рындиком этаким по чеботаревскому двору, распорядки наводит.

– Эй, ты, гамай, гужеед, где кожи вывалил? Тебе куда велено?

Глядишь – и оштрафовал на семитку, и мнет уж мужик дырявую свою шапчонку, и кланяется.

Одного только за версту и обходит Барыба – Урванку. А то ведь и на Чеботариху самое взьестся подчас. Терпит, терпит, а иной раз такая посчастливится ночь... Наутро мутное все, сбежал бы на край света. Запрется Барыба в зальце, и мыкается, и мыкается, как в клетке.

Осядет Чеботариха, притихнет. Зовет Польку.

– Полюшка, поди – погляди, как он там? А то обедать зови.

Бежит, хихикая, Полька обратно:

– Неидеть. Зёл, зёл, и-и, так поперек полу и ходить!

И ждет Чеботариха с обедом час, два.

А уж если с обедом ждет, уж если час святой обеденный нарушает – уж это значит...

6. В чуриловском трактире

Раздобрел Барыба на приказчицком положении да на хороших хлебах.

Встретил его на Дворянской почтальон Чернобыльников, старый знакомец, – так прямо руками развел:

– И не узнать. Ишь купцом каким!

Завидовал Барыбе Чернобыльников: хорошо парню живется. Уж как-никак, а должен, видно, Барыба спрыснуть, угостить друзей в трактире: что ему, богатею, стоит?

Уговорил, улестил малого.

К семи часам, как уговор был, пришел Барыба в чуриловский трактир. Ну, и место же веселое, о Господи! Шум, гам, огни. Половые белые шмыгают, голоса пьяные мелькают спицами в колесе.

Голова кругом пошла у Барыбы, опешил, и никак Чернобыльникова не разыскать.

А Чернобыльников уж кричит издали:

– Э-эй, купец, сюда!

Поблескивают пуговицы почтальонские у Чернобыльникова. И рядом с ним какой-то еще человек. Маленький, востроносый, сидит – и не на стуле будто сидит, а так на жердочке прыгает, вроде – воробей.

Чернобыльников кивнул на воробья:

– Тимоша это, портной. Разговорчивый.

Улыбнулся Тимоша – зажег теплую лампадку на остром своем лице:

– Портной, да. Мозги перешиваю.

Барыба разинул рот, хотел спросить, да сзади толкнули в плечо. Половой, с подносом на отлете, у самой головы, уж ставил пиво на стол. Галдели, путались голоса, и надо всеми стоял один – рыжий мещанин, маклак лошадий, орал:

– Митька, эй, Митька, скугарева башка, да принесешь ты ай нет?

И запевал опять:

По тебе, широка улица,
Последний раз иду...

Узнал Тимоша, что из уездного Барыба, обрадовался.

– Самый этот поп тебе, значит, и подложил свинью? Ну, как же, зна-аю его, знаю. Шивал ему. Да не любит он меня, страсть!

– За что же не любит-то?

– А за разговоры мои разные. Намедни говорю ему: «Как это, мол, святые-то наши на том свете, в раю будут? Тимофей-то милосливый, ангел мой и покровитель, увидит он, как я в аду буду поджариваться, а сам опять за райское яблоко возьмется? Вот те и многомилосливый, вот те и святая душа! А не видеть меня, не знать – не может он, по катехизису должен». Ну, и заткнулся поп, не знал, что сказать.

– Ловко! – заржал Барыба, загромыхал, засмеялся.

– «Ты бы, – поп мне говорит, – лучше добрые дела делал, чем языком-то так трепать». А я ему: «Зачем, говорю, мне добрые дела делать? Я лучше злые буду. Злые для ближних моих полезительней, потому, по Евангелю, за зло мое им Господь Бог на том свете сторицею добром воздаст...» Ах, и ругался же поп!

– Так его, попа, так его, – ликовал Барыба. Полюбил бы вот сейчас Тимошу за это, за то, что попа так ловко отделал, – полюбил бы, да тяжел был Барыба, круто заквашен, не проворотить его было для любви.

За столиком, где сидел рыжий мещанин, зазвенели стаканы. Страшный, рыжими волосами обросший кулак драбзнул по столу. Мещанин вопил:

– А ну, скажи? А ну, еще раз скажи? А ну-ка, а ну?

Повскакали соседи, сгрудились, повытянули шеи: ох, любят у нас скандалы, медом их не корми!

Какой-то длинношейей верзила вывернулся из свалки, подошел к столику, здоровался с Чернобыльниковым. Под мышкой держал фуражку с кокардой.

– Удивительно... И уж сейчас все лезут, как бараны, – сказал он гусиным тонким голосом и выпятил презрительно губы.

Сел. На Тимошу с Барыбой – ноль внимания. Говорил с Чернобыльниковым: почтальон – все-таки вроде чиновник.

Тимоша, не обинуясь, вслух объяснил Барыбе:

– Казначейский зять он. Женил его казначей на последней своей, на засиделой, и местишко ему устроил, в казначействе писцом – ну, он и пыжится.

Казначейский зять будто не слушал и еще громче говорил Чернобыльникову:

– И вот после ревизии представили его к губернскому секретарю...

Чернобыльников почтительно протянул:

– К губе-е-рнскому?

Тимоше невтерпеж стало – влез в разговор.

– Почтальон, Чернобыльников, а помнишь, как его наемни исправник-то из дворянской... энтим самым местом выпихнул?

– Просил бы... Пок-корнейше просил бы! – сказал казначейский зять свирепо.

А Тимоша досказывал:

– «...Ан не пойдешь!» – «Ан пойду!» Ну, слово за слово, – об заклад. Влез он в дворянскую. А на бильярде-то как раз казначей с исправником играл. Наш франтик – к тестю: на ухо пошептал, будто за каким-то делом пришел. Да там и остался стоять. А исправник – начал кием нацеливаться, все пятился, пятился, да невзначай будто так его и выпихнул, энтим самым местом. Ох, Господи, вот смеху-то было!

Надрывались со смеху Барыба с Чернобыльниковым.

Казначейский зять встал и ушел не глядя.

– Ну, еще помиримся, – сказал Тимоша. – И ничего ведь малый был. А теперь – на лбу кокарда, а во лбу – барда.

7. Апельсинное дерево

У Польки, у дуры босоногой, на кухне только одно окошечко и есть, да и на том стекло зацвело, от старости заразноцветилось. А на окне у Польки – баночка.

Посадила – давно уж, с полгода будет – в баночку эту Полька апельсинное зерно. А теперь, гляди, уж и целое деревцо выросло: раз, два, три, четыре листочка, малюсеньких, глянцевых.

Помыкается на кухне, погремит Полька горшками – да и опять подойдет к деревцу, листочки понюхает.

– Чудно. Было зерно, а вот...

Берегла-холила. Кто-то сказал, что, мол, хорошо это для росту – стала деревцо поливать супом, коли остался от обеда.

Раз Барыба из трактира вернулся поздно, встал утром злючий-презлущий, чаю глонул – и сейчас в кухню, душу отвести. Звала его теперь Полька не иначе как барином: очень лестно.

Полька как раз у окна своего возилась, около деревца любезного.

– Где кот?

Полька, не обертываясь, копошилась. Робея, отвечала:

– Они, барин, ушли. Да где-нибудь на дворе, наверно, где ж еще?

– Ты это что там стряпаешь?

Притихла, сробела, молчала. Блюдце с супом в руке.

– Су-упом? Траву поливаешь? Для этого тебе суп даден, дуреха ты этакая? Сейчас подай сюда!

– Ды-к, это пельсин, барин...

Полька затрепыхалась от страха: ох, и что теперь будет?

– Я те покажу пельсин! Супом поливать, дура, а?

Барыба схватил баночку с апельсином. Полька заревела. Да что тут долго с ней, дурой, вожжаться? Выхватил с корнем деревцо да за окно, а баночку поставил на место. Очень даже просто.

Полька ревела в голос, грязные полосы наследились от слез на лице, причитала по-бабьи:

– Пельсин мой, ды-ы батюшка, да как же я без тебя буду-у...

Барыба весело поддал ей сзади пару, и она выкатилась из двери, по двору – да прямо в погреб.

Разгрыз какой-то камень, вот тут, с Полькой, с апельсином этим – и полегчало сразу.

Скалил зубы Барыба, пьянел.

Увидал в окно, как Полька спустилась в погреб. Повернулся в голове медленно какой-то жернов – и заколотилось вдруг сердце.

Вышел на двор, огляделся по сторонам и юркнул в погреб. Плотно закрыл за собой дверь.

После солнца – да в темь: совсем ослеп. Шарил по сырým стенам, спотыкался:

– Полька, где ты? Ты там где, дура, зачихачилась?

Слышно, где-то хлюпает Полька, хнычет, а где... Затхло, могильно, сыро. Щупал руками по картошкам, кадушкам, свалил деревянный кружок с крынки какой-то.

Вот она, Полька: на куче картошек сидит, размазывая слезы. Крошечная какая-то дырочка вверху – пролез один хитрый, прищуренный лучик и отрезал кусок косы у Польки с тряпичной лентой, пальцы, грязную щеку.

– Будя, будя, не реви, засохни!

Барыба легонько налегнул на нее, и она повалилась. Послушно двигалась и была вся, как тряпочная кукла. Только еще чаще захныкала.

Во рту пересохло, язык еле ворочался у Барыбы. Плел что-то – так, чтоб занять ее голову, отвлечь ее от того, что он делал:

– Да, ишь ты, штука какая, пельсин! А ты и реветь? Мы тебе, вместо пельсина, дай-кось, ерань купим... Ерань – она... это самое... духовитая...

Полька тряслась вся и хныкала, и в этом была своя особая сладость Барыбе.

– Так, та-ак! Реве теперь, ну, реви вовсю, – приговаривал Барыба.

* * *

Польку выпроводил. Сам остался еще, растянулся на куче картошек, отдыхая.

Вдруг заулыбался Барыба до ушей, довольный. Сказал вслух Чеботарихе:

– Что, перина старая, съела, ага?

И показал в темноте кукиш.

Вышел из погреба, зажмурился: солнце. Поглядел под сарай: там копошился, спиною к нему, Урванка.

8. Тимоша

Сидели в трактире за чаем. Тимоша приглядывался все к Барыбе.

– Неуютный ты какой-то, погляжу я. Бивали тебя, должно быть, вот как.

– Бивали, как же, – засмеялся Барыба. Лестно даже было: бивали – а теперь вот подика, сунься.

– То-то ты и вышел такой, чадушко. Души-то, совести у тебя – ровно у курицы...

И завел свое – о Боге: нет, мол, Его, а все выходит, жить надо по-Божьи; и о вере, и о книгах. Непривычно было Барыбе так много молоть своим жерновом, томили Тимошины мудреные слова. Но слушал – тяжелый телегой тащился за Тимошей. Кого же и слушать, как не Тимошу: голова-парень.

А Тимоша уж дошел до самого своего до главного:

– Вот, покажется иной раз – есть. А опять повернешь, прикинешь – и опять ничего нет. Ничего: ни Бога, ни земли, ни воды – одна зыбь поднебесная. Одна видимость только.

Тимоша повертел по-воробыному головкой, теснило что-то.

– Одна видимость. Дойти-то до этого, что-о! Нет, а вот с одним ничем-то этим с глазу на глаз пожить, воздухом-то попитаться. Вот тут, брат...

И увидел, что заблудился уж Барыба, отстал, спотыкнулся.

Махнул Тимоша рукой:

– Э, да что! Ни к чему тебе это, ты-то утробой живешь... У тебя Бог-то съедобный.

Вышли из трактира. Ночь июньская, нежаркая, липой пахнет, сверчки в траве заливаются. А Тимоша в ватное обряхался, ну и чудак же!

– Ты что ж это, Тимоша, кутафья кутафьей?

– А, да ну! Не спрашивал бы. Ту-бер-ку-лоз, брат. Так фершал в больнице и сказал. Простужаться – ни Боже мой.

«Ишь ты, то-то он квелый такой» – и как-то увесисто почуял вдруг Барыба тяжесть своего звериного, крепкого тела. Шел тяжко-довольный: было приятно ступать на землю, попирать землю, давить ее – так! Вот так!

У Тимоши, в комнатухе с драными обоями, сидели за некрашеным столом трое ребят, веснушчатых, востроносых.

– Мать где? – крикнул Тимоша. – Опять нету?

– К земскому ушла, приходили, – робко сказала девочка. И стала в углу надевать полсапожки: неловко босиком-то, чужой какой-то пришел.

Тимоша насупился.

– Давай кулеш, Фенька. Да бутылку из выхода принеси.

– Мамаша не велела бутылку.

– Я те дам мамашу. Живо, живо! Садись, Барыба.

Сели за стол. Наверху пицала тоненько лампа жестяным абажуром, увешаннымдохлыми мухами.

Фенька из миски стала было отливать в долбленку кулеш ребятам. Тимоша на нее крикнул:

– Это что? Отцом родным гребуете? Мать подучает все? Ну, я ее подучу, дай-ка, придет вот! Шляется...

Ребята стали хлебать из общей миски, не в охотку, понуро. Тимоша хихикнул криво и сказал Барыбе:

– Вот Господа Бога искушаю. В больнице говорят – она, мол, прилипчивая, чахотка-то. Ну, вот, и погляжу: прилипнет к ребятам ай нет? Поднимется у него, у Господа Бога, рука на ребят несмысленных, – поднимется ай нет?

В окно постучали чуть-чуть, робко.

Тимоша торопливо распахнул раму и пропел ядовито:

– А-а, пожаловала?

И потом Барыбе:

– Ну, брат, собирай свои манатки. Больше тебе тут глядеть нечего. Тут дело пойдет сурьезное.

9. Ильин день

Под Ильин день вечер – особенный, и благовест – свой особенный: в соборе – престол, в монастыре – престол, стряпухи во всех домах пироги к завтраму пекут, а в небе Илья-пророк грома заготапливает. И небо-то под Ильин день какое: чисто да тихо, как в избе, вымытой к празднику. Все-то спешат по своим церквам: не дай Бог к Ильину тропарю опоздать, будут весь год слезы литься, как дождь, от века положенный на Ильин день.

Ну, уж это кто-кто опоздает, да не Чеботариха только, первая она богомольница в Покровской церкви. Во-он когда, загодя еще, запряг лошадей Урванка.

Запряг, идет по двору – как раз мимо погреба. Глядь – а дверь открыта. Буркнул Урванка:

– Ишь, дьяволы, и дверь-то расхлябали. Люди Богу молиться идут, а они – на-ка тебе.

Охальники!

И посолил словечком покрепче. Хотел было дверь закрыть, да нет. Постоял, ухмыльнулся.

Пришел доложить Чеботарихе: все, мол, готово.

– А только дозвоьте вас просить через черный ход выйтить... – и узлом завязал Урванка улыбку на закопченном своем лице: поди-кось, раскуси, что она такое означает.

– Чтой-то мудришь ты, Урванка! – сказала Чеботариха. Однако ж поплыла, шурша шелковым, коричневым с цветочками платьем.

Спустилась, пыхтя, по ступенькам. Прошла мимо погреба.

– Дверь-то бы закрыл, догадался. Все им скажи да покажи... – Чеботариха женщина степная, хозяйственная, а такая мимо раскрытой двери разве пройдет спокойно? Хоть и не надо, а закроет.

– А их-то как же, припереть там прикажете?

– Кого такое – их?

– Как кого? А Анфим-то Егорыч с Полькой? Чать, и им бы надо под Ильин-то день ко всенощной сходить?

– Брешешь, пыдлец ты этакой! Ни в жисть не поверю, чтоб Анфимка с ней...

– Да вот разрази меня Илья завтра громом, коли ежели я вру.

– А ну, перекрестись?

Урванка перекрестился. Стало быть – правда.

Побелесела Чеботариха и затряслась, словно опара, взбухшая до самых краев дежи. Урванка подумал: «Ну, завоет». Нет, вспомнила, видно, что на ней шелковое платье. Выпятила важно губу и сказала, будто ничего такого и не было:

– Урван, дверку-то закройте. Пора нам, пора в церкву.

– Слушаю, матушка.

Щелкнул засовом, отвязал лошадей, запылила по дороге знаменитая линейка Чеботарихина.

* * *

Чеботариха стояла, как всегда, впереди, у правого клироса. Сложила на животе руки и уперлась глазами в одну точку, на правом дякононом сапоге. К сапогу прилипла какая-то бумажка, дякон стоял перед Чеботарихой на амвоне, и бумажка не давала покоя.

– «Недугующих и страждущих»... И меня, стало быть, страждущую. Ах ты, Господи, ну, и подлец же Анфимка!

Кланялась в землю, а бумажка на сапоге – вот она, так и мельтешится перед глазами.

Ушел дьякон – еще того хуже: нейдет из головы Анфимка проклятый. А она-то его холила, а?

Только во время «Хвалите» Чеботариха и развлеклась немного, о Барыбе чуть позабыла. Нет, каково: дьяконова-то Ольгуня, образованная-то, столбом стоит! Вот оно, образование-то, все чтоб по-своему, не как все. Не-ет, надо дьякону про это напеть...

Сторож в отставном солдатском мундире тушил в церкви свечи. Дьякон вынес Чеботарихе на тарелочке хлебец: прихожанка она была примерная, богобоязненная, хорошо платила.

Чеботариха притянула его за рукав и долго про Ольгуню шептала на ухо и качала головой.

* * *

Урванка налегнул, отодвинул засов. Выскочил Барыба как ошпаренный.

– Чай кушать пожалуйста, – сказал, ухмыляясь, Урванка.

«Неужто не сказал?» – подумал Барыба.

Чванная, в шелковом, лубом стоящем, платье сидела Чеботариха, ломала на кусочки поднесенный дьяконом хлебец и глотала, как пилюли, очень громко: кто же святой хлеб жует?

«Ну, уж говорила скорей бы», – ждал Барыба, сердце трепыхалось и ныло.

– К чаю-то, может, молочка топленого велеть принести? – поглядела Чеботариха как будто и ласково. «Измывается либо? А может, и впрямь – не знает?»

– Да где ее, Польку-то, теперь сыщешь? Кургузить начинает, вешала-девчонка. Вы бы, Анфимушка, приглядели за ней.

Так вот, просто, будто бы и ничего, говорила себе Чеботариха, глотала хлебец по кусочкам, сметала со стола взятые крошки и ссыпала в рот.

«А ведь не знает, как Бог свят», – вдруг Барыба уверился. Развеселился, улыбался четырехугольной своей улыбкой, ржал – рассказывал, как дуреха эта Полька супом поливала пельсинное дерево.

Солнце садилось медное, ярое: задаст Илья завтра грозу. Алели белые чашки, тарелки на столе. Важная, молчаливая сидела Чеботариха и не усмехнулась ни один раз.

* * *

Весело отбивал Барыба поклоны в спальне, рядом с Чеботарихой, и благодарил неведомых каких-то угодников: миновало, пронесло, не сказал Урванка!

Загасла лампадка. Ночь душная, тяжелая под Ильин день. В темноте спальни – жадный, зияющий, пьющий рот – и частое дыхание загнанного зверя.

У Барыбы перестало биться сердце, заерзали перед глазами зеленые круги, слиплись на лбу волосы.

– Да ты что, али рехнулась? – сказал он, выпутываясь из ее тела.

Но она облепила, как паук.

– Не-ет, миленький, не-ет, дружок! Не уйдешь, нет!

И томила его невидными и непонятными в темноте, злыми ласками – и сама всхлипывала: замочила слезами все лицо у Барыбы.

* * *

До утра. Сквозь каменный сон услышал Барыба колокол – к Ильинской обедне. Во сне услышал какое-то пение и ворочал окаменевшие мысли, силился сообразить.

Но проснулся только, когда кончили петь. Вскочил сразу как встрепанный. «Да ведь это попы молебен в зале отпели!»

Оделся, глаза слипались, голова чужая.

Попы уже ушли. Чеботариха одна сидела в зальце, на кретоновом диване. Была опять в шелковом, лубом стоящем, платье и в кружевной парадной наколке.

– Проспали молебен-то Ильинской, а? Анфим Егорыч?

Может, оттого, что и правда – проспал и было уже около полудня, а может, оттого, что пахло в зальце ладаном – стало Барыбе неловко как-то, не по себе.

– Садитесь, Анфим Егорыч, садитесь, побеседуем.

Помолчала. Потом закрыла глаза и лицо сделала, будто и не лицо, а так – пирог сдобный. Голову набок – и сладким голосом:

– Так-то вот, грехи наши тяжкие. И не замолишь их. А на том свете – Он-то, батюшка, все припомнит, Он, батюшка, в геенне серной дурь-то всю-ю выкурит.

Барыба молчал. «И куда это она гнет?» Вдруг Чеботариха распялила всю глаза и, брызгая слюной, закричала:

– Да ты что же, пыдлец ты етакой, молчишь, как воды в рот набрал? Ай, думаешь, я про шашни твои с Полькой ничего не знаю? Девчонку спортить, пыдлец ты етакой развратной, – нипочем тебе?

Ошарашенный, Барыба, молча, ворочал челюстями и думал: «А ведь вчера поросенка-то зарезали – это, поди, нынче к обеду».

Чеботариха совсем раскипелась от молчания Барыбина. Затопала, сидя, ногами.

– Вон, вон из мово дому! Змей подколодный! Я его на груди отогрела, паршивца, а он – на-кося! На Польку – это меня-то, а?

Не понимая, не в силах повернуть чем-то налитых мыслей, сидел Барыба, как урытый, молча. Глядел на Чеботариху. «Ишь, как брыжжет-то, брыжжет-то, а?»

Опомнился, когда в зальцу вошел Урванка и сказал ему с улыбкой, с веселой:

– Ну, нечего, брат, нечего. Проваливай-ка. Твоово тут, брат, ничего нету.

И сзади нахлобучил Барыбе картуз.

* * *

Перед Ильинскою грозою пекло солнце. Ждали – воробы, деревья, камни. Засохли, томились.

Барыба, очумелый, шатался по городу, присаживался на всех лавочках по Дворянской.

– Что ж теперь дальше-то, а? Что ж теперь? Куда?

Мотал головой и все никак не мог этого стряхнуть: балкашинский двор, ясли, собаки голодные дерутся из-за кости...

Бродил потом по каким-то задним улицам, по мураве зеленой. Проезжал мимо водовоз, у одного колеса соскочила, позванивала шина. Почуял Барыба, что и правда пить-то ведь хочется. Попросил, напился.

А с севера, от монастыря, нашла уж туча, разломила небо на две половинки: голубую, веселую, и синюю, страшную. Синяя все росла, пухла.

Как-то себя не помня, очутился Барыба под навесом, у чуриловского трактира в подъезде. Лил дождь; сбились в подъезде какие-то бабы, задрал на голову подолы; громыхал Илья. Эх, все равно – валяй, греми, лей!

Само собой как-то вышло, что пошел Барыба ночевать к Тимоше. А Тимоша даже и не удивился нисколько, как будто каждый день к нему Барыба ночевать ходил.

10. Сумерки в келье

Летом в четыре часа – самое глухое по нашим местам время. Никто из хороших людей на улицу и носу не высунет: жарынь – несусветная. Ставни все позакрыты, с полной утробой сладко спится после обеда. Одни вихорьки, серенькие, полуденными бесами приплясывают по пустым улицам. К калитке какой-нибудь подойдет почтальон, стучит, стучит. Да уж нет, не прогневайся: не откроют.

Непристанный, шатуший, бредет в эту пору Барыба. Как будто и сам не знает – куда. А ноги несут – в монастырь. Да и куда же еще? От Тимоши – к Евсею в монастырь, от Евсея – к Тимоше.

Стена зубчатая, позаросшая мохом. Будочка, вроде собачьей, у обитых железом ворот. А из будочки выходит, кривляясь, с кружкой Арсентьюшка, блаженненький – виттопляска с ним – вратарь, даяния собирает, неотвязный.

– Ишь, пристал, наядный!

Положил ему Барыба семитку и пошел по белым накаленным плитам, мимо могил именитых горожан за позолоченными решетками. Любили именитые тут хорониться: всякому лестно в монастыре лежать, и чтоб денно и ночью о нем ангельские чины молились.

Постучал Барыба в Евсееву келью. Никто не ответил. Он открыл дверь.

За столом без подрясников, в одних белых штанах и рубахах, сидели двое: Евсей и Иннокентий.

Евсей зашипел на Барыбу свирепо: ш-ш-ш! И опять уставился, не мигая, наливной, стеклянноглазый – в стакан свой с чаем. А Иннокентий, губошлепый, баба с усами – замер над своим стаканом.

Барыба у притолоки остановился, глядел, глядел: да что они, ополоумели, что ли?

У другой притолоки стоял Савка-послушник: масляные, прямые палки-волосы, красные, рачьи ручищи.

Савка почтительно фыркнул в сторону:

– Ф-фы! Дак, к отцу Евсею-то в стакан муха того и гляди сядет. Ай не видите, что ли?

Ничего не понимая, лупил Барыба глаза.

– Дак, как же? Это у них теперича самая разлюбезная игра. Пятак, там, гривенник поставят – и ждут, и ждут. К которому батюшке первому муха в стакан попадет – тот, стало быть, и выиграл.

Савке охота побалакать с мирским. Говорит, все время закрывая из почтения рот огромной красной ручищей:

– Гляньте-кось, гляньте-кось, отец Евсей-то.

Евсей – сизый, наливной, наклонился к стакану, щерился рот у него все шире – и вдруг грохнул, хлопнул себя по коленке рукой:

– Е-эсть! Вот она, голубушка! Мой пятак! – и пальцем выловил муху из стакана. – Ну, мальй, чуть не подкузьмил меня. Спугнул ведь было мушку-то матушку.

Он подошел к Барыбе поближе, уставился стеклянными своими глазами, забубукал:

– А мы, мальй, и видеть тебя не чаяли. Слышали, совсем бландахрыстом стал. Думали, до смерти баба тебя заездит. Ведь Чеботариха-то, она баба – я-те дам, жадёна!

Усадил чай пить Барыбу, сам допивал стакан, из которого выловил мушку-матушку. Да какая же без зеленого вина встреча? – выставил Евсей и косушку на стол.

Савка подал второй самовар. На столе – медяки, Псалтырь, крендели, рюмки с отколо-тыми ножками.

Иннокентий что-то расстроился после водки, глазки у него слипались, то и дело клал голову на стол, подперев кулачком. Жалобно вдруг запел «Свете тихий». Евсей и Савка под-

тянули. Савка пел басом, откашливаясь в сторону и прикрывая красной ручищей рот. Барыба подумал: «Эх, все равно!» – и тоже горестно стал подвывать.

Вдруг Евсей оборвал и заорал:

– Сто-ой! Стой – тебе говорю!

А Савка все еще тянул. Евсей кинулся к нему, схватил за глотку и притиснул к спинке стула, полоумный, дикарь. Задушит.

Иннокентий встал, согбенный, старушечьими шажками подошел сзади к Евсею и пощекотал ему подмышки.

Евсей захохотал, забулькал, замахал руками, как пьяная мельница, отпустил Савку. Потом сел на пол и затянул:

На-а горе сидит калека,
У-бил чем-то человека...

Все, молча, усердно подтягивали, как раньше – «Свете тихий».

Смерклось, слилось, закачалось все в пьяной келье. Огня не зажигали. Иннокентий ныл и приставал ко всем, шамкая – старушонка с усами и седой бородой. Попритчилось вот ему, что поперхнулся он чем-то. Застряло вот в глотке, да и только. Колупал-колупал пальцем: не помогает:

– Ну-ка, попробуй ты, Савушка, миленочек, пальчиком? Может, и ощутишь что.

Савушка лез, вытирал потом палец о полу подрясника.

– Ничего, ваше преподобие, нету. Так это, пьяный бес блазнит.

Евсей прикорнул на кровати и долго лежал так, ни слуху ни духу. Потом вскочил вдруг, лохмами своими затряс.

– По мне, ребятки, в Стрельцы бы, этга, теперь махануть. На радостях встречных. Барыба малый, а, ты как? Деньжат бы вот только перехватить где. У келаря разве? Как, Савка, а?

Невидный, у двери заржал Савка. Барыба подумал: «Что ж, отшибет, пожалуй. Позабыть бы все».

– Коли отдашь завтра... У меня есть малость денег-то, последние, – сказал он Евсею.

Евсей живо взбодрился, мотал, как веселый пес, головой, выпялил стеклянные свои глаза.

– Да я, перед Истинным вот, завтра отдам, у меня есть ведь, да только далеко спрятаны.

Шли вчетвером мимо могил. Полумертвый месяц мигал из-за облака. Иннокентий зацепился подрясником за решетку, струхнул, закрестился, свернул назад. Трое полезли через стену по нарочно, для ходу, выломанным кирпичам.

11. Брокеровская баночка

Вот и опять тяжко-жаркий, дремучий послеполудень. Белые плиты на монастырской дорожке. Липовая аллея, жужжанье пчел.

Впереди Евсей, в черном клобуке, с приквашенными лохмами: нынче ему черед вечерню служить. А сзади – Барыба. Идет, да нет-нет и опять растворит, как ворота, четырехугольную свою улыбку.

– Уж больно ты, Евсей, в клобуке-то чудной да непригожий. Гречневик бы тебе мужицкий или папаху, куды бы гожее было.

– Да я, малый, и то – в юнкера хотел идти, да запьянствовал ненароком. Вот под монастырь и угодил.

Эх, Евсей! Какой бы краснорожий, сизоносый казацкий есаул из тебя вышел. Или бы писарь волостной, пьяница, мужикам панибрат. А вот, поди ж ты, изволением Божиим...

– А как ты, Евсей, плясовую-то вчера в Стрельцах откатал, а?

Во монахи поступили,
Самовары закупили...

Евсей заухмылялся, передернул было плечами. Да уж нет, в этом бабьем наряде – куда там. Вчера – вот это так: рубаху веревочкой подпоясал по-деревенски, под самые под мышку, порты крашенные белые с синими полосочками, борода рыжая лопатой, зенки того и гляди выскочат – настоящий лешак деревенский, и плясать ловкач. То-то нахохотались стрелецкие девки вдосталь!

Пришли. Барыба постоял минутку у старых церковных дверей. Вышел Евсей, поманил пальцем:

– Ну, иди, малый, иди. Никого нету. Сторож – и то куда-то ушел.

Низенькая, старая, мудрая церковь – во имя древнего Ильи. Видала виды: оборонялась от татаровья, служил в ней, говорят, проездом боярин Федор Романов, в иночестве Филарет. В решетчатые окна глядят старые липы.

Бубукает, шумит, не уймется и тут Евсей, есаул в клобуке. Старые, худые, большеглазые угодники жмутся по стенам – от махающего руками, бородатого, громкого Евсея.

Евсей стал на колени, пошарил рукой под престолом.

– Тута, – сказал он и вынес к свету пыльную баночку от брокеровской помады. Откупорил, перелистал, слюнявя, четвертные бумажки.

Беспокойно заворочал Барыба своим утюгом.

«Ох ты, дьявол! Десяток, а то либо и больше. И на кой они ляд ему?»

Евсей отложил одну бумажку.

– А остальные – либо на помин души оставлю, а то либо, этга, одна как-нибудь заберу все да стрелецким девкам на пропой раздарю.

Белые плиты монастырской дорожки. Гудят пчелы в старых липах. Тяжкий звон кружит хмельную голову.

«И на кой они ляд ему?» – думает Барыба.

12. Монашек старенький

На теплой от солнца скамеечке каменной, возле Ильинской церкви, старый-престарый сидит монашек. Выцвела, позеленела у него ряска, прозеленью пошла борода седая, обомшали руки, лицо. Лежал вот где-то, как клад, под старым дубом, выкопали его – взяли и посадили тут на солнышке греться.

– Да тебе лет-то сколько, дедушка? – спрашивает Барыба.

– И-и, милый, позабыл я. Да, вот, Тихона-то вашего Задонского, помню. Хорошо служил батюшка, истово.

Все вертится Барыба около монашка позеленелого, все льнет к нему. Ох, недаром!

– Пойдем, дед, в церковь, я тебе подметать помогу.

И ходят под темными прохладными сводами. Убирает любовно монашек старую свою церковь, с угодниками шепчется. Свечку засветит – и станет, любитесь, теплится перед ней.

«Дунуть, вот – и потухнут и свечка, и монашек», – думает Барыба.

Ходит он за монашком следом: одно подаст, другое подержит. Полюбил Барыбу монашек. Народ-то нынче непочетник пошел, забыли все старого, слова перемолвить не с кем. А этот вот...

– Дед, а ведь страшно, поди, ночью-то одному в церкви?

– И-и, что ты, Христос с тобой, с ней-то, родимой, страшно?

– Дед, давай я ночую с тобой?

Строго говорит из глубокого дупла своего монашек:

– Сорок лет один на один с ней ночевывал. И нелеть никому окромя и ночевать-то в ней.

Мало ли там что в церкви ночью...

Береги ее, береги, ревнивый. Правда, мало ли что в ночной старой церкви?

«Ладно, подожду», – и ходит следом Барыба.

За всенощной под Тихона Задонского уж так-то притомился старый монашек. Народу – несть числа было. Уж потом прибирали-прибирали с Барыбой, насилу-то кончили.

Оглядел монашек все двери, все запоры ржавые проверил и присел на минуточку малую отдохнуть. Присел – и потух ветхий, заснул. Подождал Барыба, кашлянул. Подошел, тронул за рукав монашка – спит. Шасть скорей в алтарь, и ну – под престолом шарить. Шарил-шарил: нашел.

Крепко спит старый монашек – приучается уже смертным сном спать. Ничего не слышал старый монашек.

13. Апросина избушка

Кончается Дворянская, захудалые последние ларьки и фонари. А дальше – Стрелецкий пруд, старые лозинки кругом, обомшалый скользкий плот, стучат, нагнувшись, бабы вальками, ныряют утята.

У самого пруда, на Стрелецкой слободской стороне присуседилась Апросина избенка. Ничего себе, теплая, сухая. Под скобку стриженная соломенная крыша, оконца из стекольных зацветших верешков. Да много ли Апросе с мальчонкой вдвоем и надо? Двухдушный надел сдала арендателью, а там, гляди, к празднику и муж гостинец пришлет – трешну, пятишну. И письмо:

«И еще с любовью низкий поклон дражайшей супруге Апросинье Петровне... А еще уведомляю, что нам опять прибавили по три рубли в год. И мы опять порешили с Илюшей остаться в сверхсрочных...»

Спервоначалу Апрося тосковала, конечно, – дело молодое, а потом загас, забылся муж в сверхсрочных. Так, представлялся вроде марки какой на письме или вроде печати: его, мол, печать, его марка. А больше и ничего. Так и обошлась Апрося, обветрела, в огороде копалась, обшивала мальчонку, на постирушки ходила.

У Апроси у этой и снял комнату Барыба. Сразу понравилось: домовито, чисто. Уговорились за четыре с полтиной.

Апрося была довольна: жилец солидный, не какой-нибудь оторвяжник, и с деньгами, видимо. И не очень чтоб заворотень или гордец, когда и поговорит. Заботилась теперь о двух: о мальчонке своем и о Барыбе.

Весь день на ногах – обветрелая, степенная, ржаная, крепкогрудая: поглядеть любо.

Тихо, светло, чисто. Отдыхал Барыба от старого. Спал без снов, деньги были: какого рожна еще нужно? Ел не спеша, прочно, помногу.

«Ну, ин ладно, угождаю, стало быть», – думала Апрося.

Накупил Барыба книжонок. Так, лубочных, дешевка, да очень уж завлекательные: «Тяпка – лебедянский разбойник», «Преступный монах и его сокровища», «Кучер Королевы Испанской». Валялся Барыба, подсолнухи лушил, читая. Никуда не тянуло: перед Чернобыльничковым почтальоном и перед казначейским зятем было вроде неловко: поди, теперь уж все проведали. А на баб даже и глядеть не хотелось, после Чеботарихи не осела еще муть.

Ходил гулять в поле, там косили. Вечерняя парча на небе, покорно падает золото ржи, красные взмокшие рубахи, позванивают косы. И вот бросили – и к жбанчикам с квасом, пьют, капли на усах. Эх, всласть поработали!

Думалось Барыбе: вот бы так. Чесались крепкие руки, сжимались жевательные мускулы... «А казначейский-то зять? Вдруг бы увидал...»

– То-оже, выдумал, в мужики пойти. Еще, пожалуй, кожи возить на Чеботарихином заводе? Самая статья... – сердито бурчал на себя Барыба.

Вертись не вертись, а надо что-нибудь и выдумывать: так, без дела, не проживешь на Евсеевы деньги, не Бог знает какие тысячи.

Покумекал-покумекал Барыба да и настрочил прошение в казначейство: авось возьмут писцом, помощником бы к казначейскому зятю. Вот бы фуражку тогда с кокардой – знай наших!

Духота под вечер была смертная. Барыба все же напялил бархатный свой жилет (остаток житья привольного у Чеботарихи), воротничок бумажный, брюки «на улицу», и пошел на Дворянскую: где ж, как не там, казначейского зятя найти.

Тут, конечно. Ходит, длинногачий, тощий, вешалка, на всех глядит кисло, тросточкой помахивает. Так и хочет сказать: «Ты кто такой? А я, видишь, чиновник – фуражка с кокардой».

Кислую улыбку сунул Барыбе:

– А-а, эт-то вы! Прощение? Гм-гм.

Оживился, подтянул штаны, поправил воротничок. Почувствовал себя приветливым начальством.

– Что же, я передам, хорошо. Я сделаю, что могу. Ну, как же, как же, старое знакомство.

Барыба шел домой и думал:

«Ух, и смазал бы тебя, кислая харя. Однако что говорить – образованно себя держит. А воротничок-то? Самого настоящего полотна и, видать, каждый раз – новый».

14. Вытекло веселое вино

Келарь Митрофан разноухал, выведал все, собака, о Евсеевом походе в Стрельцы. Может, конечно, и сам Евсей разблагоевстил, нахвастал. А только знал келарь все до последней капли: и как отплясывал Евсей в рубахе одной, под мышками подпоясанной, и песню эту: «Во монахи поступили», и развеселое катанье на живейных по Стрельцам. Келарь, конечно, игумену. Игумен призвал Евсея да так его разнес, что Евсей вылетел, как с верхнего полка из бани.

Поставили Евсея на послушание к хлебопеку. К службам не ходил. В подвале у хлебопека – жара, как в аду. Главный чертище Силантий, косматый, красный, орет на месильщиков, а сам отмахивает на лопате в печь пудовые хлебы. Месильщики, в одних белых рубахах, подвязав веревочкой космы, ворочают тесто, кряхтят, работают до седьмого пота.

Зато и спал Евсей, как давно не спал. И глаза стеклянные как будто отошли малость. О косушке и подумать некогда было.

Все бы хорошо, да кончилось послушание. Опять пошло старое. Заслужил Евсей, забубнил молитвы. Опять Савка-послушник суется в глаза рачьими своими ручищами, ноет Иннокентий, баба с усами.

Савка рассказал про Иннокентия:

– Анадьсь они, отец Иннокентий, пошли в баню. Там дьяконок один был, из сосланных, веселый. Кэ-эк увидел он отца Иннокентия в натуральном виде: «Батюшки, кричит, да это баба, гляди, гляди, груди-то обвислые, стало быть – рожалая».

Иннокентий запахивал плотнее ряску.

– Бесстыдный он, дьяконок-то твой. Оттого ему такое и притчится.

Дьяконок этот самый и сгубил Евсея. Пришел дьяконок с воли, скучно, понятно, вот он и шатался из кельи в келью. Забрел как-то к Евсею. Сидели Евсей с Иннокентием над стаканами, опять дулись «в муху» – к кому первому муха в стакан попадет. Увидал дьяконок, помер со смеху, завалился на Евсееву кровать, ножками болтает, ой-ой-ой (ножки у него коротенькие, маленькие, глаза – как вишенки).

На веселый лад дьяконок настроился – и пошел, и пошел. Все свои семинарские анекдоты выложил, мастер на это был. Сначала скромно. А потом уж пошел и про попа, этого самого, что исповедников посылал догрешить: назначал им епитимью по пятнадцати поклонов за два раза – ну, и никак было не сосчитать, все выходило с дробью. И про монашку, которую догнали в лесу бродяги, целых пятеро, а она потом сказывала: «Хорошо-де, и вдосталь, и без греха».

Ну, словом, всех уложил. Евсей поперхнулся от смеху, стучал кулаком по столу.

– Ай да дьякон! Ну, и разуважил. Придется, видно, угощение тебе поставить. Подождете, отцы, а? Я в секунд.

– Куда тебя буревая несет? – спросил дьякон.

– Да за деньгами. Они, брат, у меня под спудом лежат, нетленные. Тут, недалеко. И глазом не морганешь...

И впрямь – дьякон и рассказа нового досказать не успел, а Евсей уж тут как тут. Вошел, прислонился к притолке.

– Иди, богатей, иди, предьяви-ка, – весело закричал дьякон и подошел к Евсею. Подошел – и обмер: Евсей – и не Евсей. Обвис, обмяк, вытек весь как-то: проткнули в боку дыру, и вытекло все вино веселое, остался пустой бурдюк.

– Да ты чего же молчишь-то? Или приключилось что?

– Украли, – сказал Евсей не Евсеевым, тихим голосом и бросил на стол две последних бумажки: для потехи оставил вор...

Оно и раньше-то, правду сказать, Евсей умом тихий был, а тут и с последнего спятил. Пропил остатние четвертные. Бродил пьяный по городу и выпрашивал пяточки опохмелиться.

Забрал его будочник в участок за веселое на улице поведение – будочнику этому весь нос расквасил и удрал в монастырь.

Наутро пришли к нему друзья-приятели: Савка-послушник, да отец Иннокентий, да маленький дьяконок. Стали его увещать: опомнись, что ты, выставит тебя игумен из монастыря, побираться, что ли, идти?

Евсей лежал на спине и все молчал. Потом вдруг захлюпал, распустил нюни по бороде:

– Да, как же, братцы? Я не от денег, мне денег не жалко. А только раньше я, захоти вот, нынче же и вышел из монастыря. А теперь – хотя не хоти... Слободный был человек, а теперь...

– Да кто же это такое тебя объегорил? – нагнулся дьяконок к Евсею.

– Не знал, а теперь знаю. Не наш, мирской один. И ничего ведь как будто малый, а вот... Он, больше некому. Кроме него, и не знал никто, где у меня деньги.

Савка заржал: а, знаю, мол!

Вечером, при свечке, за пустым столом – и самовар неохота было вздуть – судили, рядили, как быть. Ничего не придумали.

15. У Иванихи

Утром после обедни зашел Иннокентий. Принес просвиру заздравную. Зашептал:
– Знаю теперича, отец Евсей. Вспомнил. Пойдем-ка скорей к Иванихе. У-у, она известная, заговорит вора – в момент объявится.

Утро росное, розовое, день будет жаркий. Воробьи празднуют.

– Эка, спозарань поднял, – ворчал Евсей. Иннокентий шел мелкой бабьей походкой, придерживая на животе рясу.

– Никак, отец Евсей, нельзя. Или не знаешь, заговор – он натошак только силу имеет.

– Врешь ты все, поди, Иннокентий. Так только, зря проходим. Да и срамно – духовным-то.

Иваниха – старуха высоченная, дылда, костистая, бровястая, брови, как у сыча. Не очень-то ласково встретила монахов.

– Чего надоть? За какой присухой пришли? Али с молебном? Так мне ваших молебнов не надобно, – и возилась, стукотала горшками на загнетке.

– Да нет, мы к тебе насчет... Отца Евсея вот обокрали. Не заговоришь ли вора-то? Слышали мы...

Отец Иннокентий робел Иванихи. Перекреститься бы, а перекреститься при ней нельзя, пожалуй: шутяка-то тут, – еще спугнешь, ничего не выйдет. Как баба – шубейку, запахивал Иннокентий на груди свою ряску.

Иваниха глянула на него сверху, стегнула сычными своими глазами:

– Так ты-то при чем? Его обокрали – нам с ним вдвоем и остаться.

– Да я, матушка, что ж, я...

Подобрал полы ряски, согнувшись, засеменял бабьими мелкими шажками.

– Как звать-то? – спросила Иваниха у Евсея.

– Евсеем.

– Знаю, что Евсеем. Не тебя, а на кого думаешь – его как звать.

– Анфимкой, Анфимом.

– Тебе на чем же заговаривать-то? На ветер? А то вот хорошо тоже на передник, над березовыми если сучьями его разостлать. А может – на воде? Да потом его, голубя, залучить да и попоить чайком на этой самой воде.

– Во-во, чайком-то его бы, а? Вот бы ловко, мать, а?

Евсей обрадовался, забубукал, поверил: уж очень солидная да строгая старуха Иваниха.

Иваниха зачерпнула деревянным долбленным корцом воды, раскрыла дверь в сени, поставила Евсея за порогом, сама на пороге стала. Сунула в руки Евсею корец.

– Держи да слушай. Да, гляди, никому ни слова, а то все на тебя же и оборотится.

Зачитала медленно, вразумительно таково, а глазами сычными низала воду в корце.

– На море – на Кияне, на острове Буяне стоит железный сундучище. Во том сундучище лежит булатный ножище. Беги, ножище, к Анфимке-вору, коли его во самое сердце, чтобы он, вор, воротил покражу раба Божия Евсея, не утаил ни синь пороха. А коли утаит, будь он, вор, прогвожден моим словом, как булатным ножом, будь он, вор, проклят в землю преисподнюю, в горы араратские, в смолу кипучую, в золу горячую, в тину болотную, в дом бездомный, в кувшин банный. Коли утаит, будь он, вор, осиновым колом к притолке приткнут, иссушен пуще травы, захоложен пуще льда, а и умереть ему не своей смертью.

– Будя теперь, – сказала Иваниха. – Попой его водичкой, голубя, попой.

Евсей бережно перелил воду в бутылочку, дал Иванихе целковый и пошел довольный:

– Я те, миленок, угощу чаем. Я те развяжу язык!

16. Ничем не проймешь

Привязалась к Барыбе ночью ни с того ни с сего лихоманка. Трясло, корежило, сны заплетались неестественные.

Утром сидел за столом в тумане каком-то, пудовую голову на руки упер.

Стукнули в дверь.

– Апрося?

А головы не повернуть, такая тяжелая. У двери кашлянули баском.

– Савка, ты?

Он самый: волосы-палки, красные рачьи ручищи.

– Беспременно просили. Они дюже по вас соскучились, отец Евсей-то.

Потом подошел поближе, поржал:

– Чаем наговоренным хотят вас поить. А вы – ни Боже мой, не пейте.

– Каким наговоренным?

– Да известно, каким: на вора наговоренным.

– Эге! – смекнул Барыба. Очень смешно стало. Дурак Евсей! Туманилось, колотилось в голове, кривлялось что-то веселое.

У Евсея в келье – дымок сизый, накурено: дьяконок веселый надымил.

– А, гостечки дорогие!

И, вихляя задом, дьяконок подставил Барыбе руку кренделем.

Водки на столе не было: нарочно решили не пить, чтоб яснее в голове было – Барыбу уловлять.

– Чего это похудал ты, Евсей. Ай присушил тебя кто? – ухмыльнулся Барыба.

– Похудеешь. Не слыхал нешто?

– Деньжонки-то твои слямзили? Как же, слыхал.

Веселый, язвительный, подскочил дьяконок:

– А откедова же узнали вы это, Анфим Барыбыч?

– А вот – Савка сказал. Вот и узнал.

– Дурак ты, Савка, – обернулся Евсей уныло.

Сели за чай. Один стакан, наполовину налитый, стоял на подносе особо, в сторонке. Иннокентий, суетясь, долил стакан кипятком и подал Барыбе.

Все уставились и ждали: ну, сейчас...

Барыба помешал, хлебнул не торопясь. Молчали, глядели. Стало чудно Барыбе, невтерпеж, захохотал – загромыхал по камням. За ним заржал Савка и залился тоненько дьяконок.

– Чего ты? – поглядел Евсей, глаза у него были рыбы, вареные.

Громыхал Барыба, катился вниз, уж не остановиться, колотилось, зелено туманилось в голове. Смешливый задор задирал, толкал сказать:

– Я самый и есть. Я и украл.

Выпил Барыба, а все молчал и улыбался четырехугольно, зверино.

Евсею не сиделось.

– Ну, рассказывай, что ли, Барыба. Чего там.

– Про что рассказывать-то?

– Сам знаешь, про что.

– Ой, Акуля, чтой-то ты шьешь не оттуля! Тебе про деньги, а? Так я ж тебе говорю: Савка мне рассказал. Только всего и знаю.

Нарочным голосом говорил Барыба: вру, мол, а поди-ка, поймай.

Дьяконок подскочил к Барыбе, похлопал его по плечу:

– Нет, братец, тебя никакой разрыв-травой не проймешь. Крепок, литой.

Евсей замотал космами:

– Эй, пропадать! Беги, Савка, за вином.

Пили. Туманилось, колотилось в голове. Зеленел дымок от курева. Дьякон плясал матросский танец.

* * *

В сумерках Барыба вернулся домой. И у самой у Апросиной калитки почувал вдруг: подгибаются коленки, заволокло глаза. Приклонился к косяку, перепугался: никогда такого не бывало.

Открыла Апрося дверь, поглядела на жильца:

– Да что ж это на тебе лица нет? Аль неможется, а?

Как-то во сне очутился на кровати. Лампочка. Апрося в изголовье. На лбу мокрая, в уксе, тряпица.

– Болезный ты мой, – сказала Апрося уютно и жалобно, немного в нос.

Сбегала Апрося к соседям, раздостала Барыбе порошок лекарственного. Ночью заволакивало и опять проясняло в голове, и видел Барыба на стуле в изголовье дремлющую Апросю.

На третий день к утру отлегло. Лежал Барыба под белой простыней, с тенями серыми, осенними на лице. Попрозрачнел как-то, почеловечел. «И правда ведь, чужой я ей, а сидела ночь, не спала...»

– Спасибо тебе, Апрося.

– И что ты, болезненький мой. Чай, ведь болен ты.

И наклонилась к нему. Была она в одной юбке пестрядинной и холщовой рубахе, и совсем перед глазами у Барыбы мелькнули две острых колющих точки на груди под редким холстом.

Закрыл Барыба – и опять открыл глаза. В окна глядит летний жгучий день. Где-то там сверкает Стрелецкий пруд, купаются, белеет тело...

Заколотилось в голове еще жарче. Беспokoйно задвигал Барыба тяжкими своими челюстями и потянул к себе Апросю.

– Вона что? – удивилась она. – Да может, вредно тебе? Ну-у, погоду, тряпку-то сменять пора.

Переменила спокойно тряпку и заботливо, хозяйственно легла на кровать к Барыбе.

* * *

Так и повелось. Целый день суетится, хозяйничает, горшками гремит Апрося, стрелецкая солдатка. Свой мальчишка, а тут еще и Барыба, и об нем пекишь. Отболелся-то он, положим, живо, а все же управиться одной не просто.

Вечером вернется откуда-то Анфим Егорыч, заглянет к Апросе:

– Приходи, ужо-тка, вечерком.

– Прийти, говоришь? Ладно. Сбил ты меня с толку сейчас. И чтой-то мне нужно было сделать – совсем замстилось. Да, бишь, яйца повынать из-под кур: опять хорек проклятый выпьет.

Бежала в курник. Раздувала потом самовар. Один у себя пил Барыба чай, перелистывал что-то. «И все читает, и все читает, долго ли так и глаза испортить». Укладывала мальчонку своего спать. Садилась на лавку и жужжала веретеном: сучила шерстяные серые нитки для зимних чулок. Шлепался сверху, с потолка, толстый черный таракан. «Ну, стало быть, поздно, пора». Тупым концом веретена почесывала в голове, зевала, крестила рот. Старательно, плюя на щетку, начищала Анфим-Егорычевы сапоги, раздевалась, аккуратно складывала все в уголку на лавке и несла сапоги Барыбе.

Барыба – ждал. Ставила Апрося у кровати сапоги и ложилась.

Уходила через полчаса. Позевывала. Отбивала десять поклонов, читала Отчу и засыпала накрепко: натрудилась за день, не оберешься хлопот.

17. Семен Семеныч Моргунов

Раз как-то Барыба сказал Тимоше:

– Да какой же ты портной? У тебя тут, дома, шитва-то никакого нету.

А очень просто, почему не было. Тимоша – он ведь какой: то ничего, ничего, а то как закрутит. Ну, и пропадай тогда заказчиковы брюки: обязательно пропьет. Знали эту манеру его и опасались ему на дом давать. Вот и ходил он шить по домам. Многих обшивал купцов, также и господ – хорошо шивал, мошенник. Между прочим, был он своим, можно сказать, человеком у адвоката Семена Семеныча Моргунова. Так и называл его Моргунов:

– Мой придворный портной.

Сапоги на Тимоше редко бывали: больше в закладе. И приходил он к Моргунову в старых резиновых калошах, а под мышкой в бумаге завернуты белые парусиновые туфли. В передней обязательно калоши скинет, туфли белые наденет – готов. И пойдут у них с Моргуновым разговоры необыкновенные: о Боге, об угодниках, о том, что все в мире – одна видимость, и как надо жить. Об Моргунове Тимоша понимал как об умном человеке. Да такой он и был, Моргунов Семен Семеныч.

Моргунов – это, впрочем, не настоящая его фамилия, а так – прозвание вроде, дразнили его так по-уличному. Да только на него поглядеть – сразу скажешь: Моргунов и есть.

Лик у Семена Семеновича был тощий, темный, иконописный какой-то. Глазищи – огромные, чернищие. И не то изумленные какие-то, не то бессовестные – очень уж велики. Одни только глаза на лице и есть. И моргал ими он постоянно: морг, морг, – будто совестился глаз своих.

Да это что – глаза. Он и весь как-то подмаргивал, Семен-то Семеныч. Как пойдет по улице да начнет на левую ногу припадать – ну, как есть, весь, всем своим существом, подмаргивает.

И уж любили же его за хитрость купцы!

– Семен-то Семеныч, Моргунов? У-у, дока, язва! Этот, брат, дойдет. Без мыла влезет и вылезет. Ты гляди, гляди-ка, подмаргивает-то как, а?

Так и повелось, что вел он у купцов все их делишки темные: вексельные там или – чего лучше – несостоятельные. И уж не мытьем, так катаньем, а дойдет-таки суд и выплывет. Зато и платили ему хорошо.

* * *

К Моргунову вот и повел Барыбу Тимоша. Да оно и пора было.

Осень была эта так, какая-то несуразная: падал снег и таял снег. А со снегом таяли Барыбины-Евсеевы денежки. Из казначейства пришел ответ: отказали, дьяволы, кто их знает, почему, какого рожна им еще нужно. Ну, вот и нужда была себе какое ни на есть дельце подыскать. Есть-то ведь хочется.

Семен Семеныч отвел Тимошу в сторонку и спросил о Барыбе:

– Это кто же будет?

– А это – так, вроде помощник мой: я вот шью, говорю – а он слушает. Без помощника-то ведь говорить не станешь, сам с собою.

Семен Семеныч задрезжал, засмеялся.

«Ну, значит, в духе: пойдет дело на лад», – подумал Тимоша.

– А раньше-то вы чем занимались? – спросил Моргунов Барыбу. Барыба замялся.

– А он у вдовы одной почтенной потешником был, – помог Тимоша, ковыряя иголкой в шитье.

Моргунов опять задрезжал: ну и занятие, нечего сказать.

А Тимоша невозмутимо продолжал:

– Ничего такого особенного. Дело торговое. Всё у нас теперь, по силе времени, дело торговое, тем только и живем. Купец селедкой торгует, девка утробой торгует. Всяк по-своему. А чем, скажем, утроба – хуже селедки, или чем селедка – хуже совести? Все – товар.

Моргунов совсем развеселился, подмаргивал, дребезжал, хлопал Тимошу по плечу. Потом засерьезничал вдруг, иконописный стал, строгий, глазами вот-вот проглотит.

– Что ж, заработать хотите? – спросил Барыбу. – Дело найдется. Мне вот свидетели нужны. Вид-то у вас внушительный, годитесь как будто.

18. В свидетелях

Так и начал Барыба в свидетелях ходить у Моргунова. Дело нехитрое. С вечера, бывало, Моргунов начинит Барыбу: вот это-то, гляди, не позабудь, Василий-то Курьяков, купецкий сын, толстый-то этот, – он только руку поднял первый. А ударил первым мещанин, рыжий который, ну да, рыжий. А ты, мол, был у садового забора и самоглазно все видел.

А наутро стоял Барыба у мирового, приглаженный, степенный, ухмылялся иной раз: чудно уж очень все это. Рассказывал аккуратно, как научил Моргунов. Купецкий сын Василий Курьяков торжествовал, мещанина сажали в кутузку. А Барыба получал трешницу, пятишницу.

Семен Семеныч только и знал – Барыбу похваливал:

– Ты, брат, солидный очень, да и упористый, кряжистый. Тебя с толку не сбить. Скоро я тебя по уголовным брать стану.

И стал Барыбу с собою возить в соседний город, где палата была. Справил Барыбе длинно-полый, вроде купецкого, сюртук. В сюртуке этом часами Барыба шатался по коридорам палаты, позевывая и лениво ожидая своей очереди. Спокойно и деловито показывал – и никогда не путался. Пробовали было прокурор или там защитник сбить его с панталыку, да нет, куда: упрется – не сбить.

Хорошо заработал Барыба на завещании одном. Купец Игумнов помер. Почтенный был человек, семейственный, жена, девчужка. Рыбную торговлю держал, и все его в городе знали, потому что посты у нас очень строго блюдут. Руки у Игумнова у этого все, как есть, кругом в бородавках были. Говорили, что, мол, от рыбы: накололся об рыбы перья.

Жил Игумнов, слава Богу, как все. А под старость приключилась с ним история: бес в ребро. Окрутила его округ пальца дочерина учительница, ну, просто, гувернантка. Жену с девчонкой со двора согнал. Лошади, вина, гости, море разливанное.

Только перед смертью старик и очухался. Призвал жену с дочерью, прощенья просил и завещание на ихнее имя написал. А первое завещание у мадамы осталось, у гувернантки этой самой, и все в том завещании ей было отписано. Ну, и завязалось дело. Сейчас, конечно, Семена Семеныча за бока:

– Семен Семеныч, голубчик. Что не в уме он второе завещание писал – обязательно это надо доказать. Свидетелей представить. За деньгами я не постою.

Думали-гадали Семен Семеныч с Барыбой. Покопался-покопался Барыба и вспомнил: видал как-то Игумнова, покойника – из бани он зимою выбежал и в снегу валялся. Дело у нас самое обыкновенное. А в таком сорте представили, что он зимой по улицам не в своем виде бегал. И свидетелей еще подыскали: что ж, правда, многие видывали.

И когда показывал это на суде Барыба, таково правильно все толковал и увесисто, как каменный фундамент клал – даже и сам поверил. И глазом не мигнул, когда игумновская вдова, в черном платочке на черничку похожая, поглядела на него очень пристально. А мадама после суда глазки ему сощурила:

– Вы прямо благодетель мой.

К ручке приложиться дала и сказала: «Заходите когда». Очень Барыба доволен был.

19. Времена

– Не-ет, до нас не дойдет, – говорил Тимоша уныло. – Куды там. Мы вроде, как во град-Китеже на дне озера живем: ничегошеньки у нас не слышать, над головой вода мутная да сонная. А наверху-то все полыхает, в набат бьют.

А пушай бьют. Так у нас на этот счет говаривали:

– Это уж пусть себе они там в Вавилонах с ума-то сходят. А нам бы как поспокойней прожить.

И верно: как газеты почитать – с ума сходят. Почесть, сколько веков жили, Бога боялись, царя чтили. А тут – как псы с цепи сорвались, прости Господи. И откуда только из сдобных да склизких вояки такие народились?

Ну, а у нас пустяками этими разными и некогда заниматься: абы бы ребят прокормить, ведь ребят-то у всех угол непочатый. Со скуки, что ли, кто их знает с чего, плодущий у нас народ до страсти. И домовитый по причине этого, богомольный, степенный. Калитки на засовах железных, по дворам псы цепные на рыскалах бегают. Чужого чтоб в дом пустить, так раза три из-за двери спросят: кто такой, да зачем. У всех окна геранью да фикусами позаставлены. Так-то оно дело вернее: никто с улицы не заглянет. Тепло у нас любят, печки нажаривают, зимой ходят в ватных жилетках, юбках, в брюках, на вате стеганных, – не найти таких в другом месте. Так вот и живут себе ни шатко ни валко, преют, как навозец, в тепле. Да оно и лучше: ребят-то, гляди, каких бутузов выхаживают.

Пришли к Моргунову Тимоша с Барыбой. Моргунов – с газетой сидит.

– Вот, министра-то ухлопали, слышали или нет?

Тимоша улыбается – лампадку веселую зажег:

– Слышали, как не слышать. Идем это по базару, слышу, разговаривают: «Очень его даже жалко: поди, ведь тысяч двадцать в год получал. Очень жалко».

Моргунов так и затрясся от смеху:

– Вот они, все тут, наши-то: тысяч двадцать... очень жалко... Ох уморил!

Помолчали, газетами пошуршали.

– А у нас – тоже Анютку Протопопову в Питере забрали, доучилась, – вспомнил Барыба.

Моргунов сейчас же привязался и пошел подзуживать – знал, как Тимоша о бабах понимает: связываться с ними в серьезном деле – все одно, что мармелад во щи мешать.

– В гости бабу еще – туда-сюда, пустить можно. А в себя уж – ни-ни. – Тимоша грозит сухоньким своим пальцем. – В себя пустил – пропал. Баба – она, брат, корни – вроде лопуха пускает. И не вынести никак. Так лопухом весь и зарастешь.

– Лопухом, – смеется, громыхает Барыба. А Моргунов кулаком стучит, орет неестественным голосом:

– Так их, Тимоша, так! А ну, прорцы еще, царю иудейский!

«И чего ломается, чего орет», – думал Барыба.

Правда, любил поломаться Семен Семеныч. Такой уж какой-то ненастоящий человек был, притворник, все-то подмигивает, выглядывает, с камешком за пазухой. И глаза – не то охальные, не то мученские.

– Пива нам, пива, пива! – орал Семен Семеныч. Приносила на подносе ясноглазая Дашутка, свежая – ну вот сейчас после дождя травка.

– Новая? – говорил Тимоша и не глядел на Моргунова.

Менял их Моргунов чуть не каждый месяц. Белые, черные, тощие, дебелие. И до всех одинаково ласков был Моргунов:

– Что ж, все они одинаковы. А настоящей все равно не найти.

За пивом, глядишь, Тимоша, завел уж о своем любимом, о Боговом, начал на Моргунова наседать с хитрыми вопросами: а коли Бог все может и не хочет нам жизнь переменить – так где же любовь? И как же это праведники в раю останутся? И куда же Бог денет этих убийц министровых?

Моргунов – не любит о Боге. Насмешник, наяный, а тут вот живо потемнеет, как черт от ладана.

– Не смей мне о Боге, не смей о Боге.

И говорит тихонько как-то, а жуть – слушать.

Тимоша доволен, смеется.

20. Веселая вечерня

Постом Великим все злющие ходят, кусаются – с пищи плохой: сазан да квас, квас да картошка. А придет Пасха – и все подobreют сразу: от кусков жирных, от наливок, настоек, от колокольного звона. Подobreют: нищему вместо копейки – две подадут; кухарке на кухню – пошлют кусок кулича господского; Мишутка наливку на чистую скатерть пролил – не выпорют для праздника.

Понятно, перепало и Чернобыльникову, когда ходил он по домам, открытки расписные разносил и хозяев поздравлял с праздником. Где четвертак дадут, а где и полтинник. Насбирал Чернобыльников – и повел в чуриловский трактир приятелей: Тимошу, Барыбу да казначейского зятя.

Выцвел к весне Тимоша, общипанный ходит, как осенний воробейчик, ветром шатает – а хорохорится, бодрится туда же.

– Полечился бы ты, Тимоша, ей-богу, – крушился Чернобыльников. – Гляди, какой стал.

– Чего лечиться-то? Все одно – помру. Да оно, по мне, и любопытно – помереть-то. Ну как же: всю жизнь в посаде кис, никуда, а тут – в неведомые страны, спутешествовать, по бесплатному билету. Чать, лестно.

Знай себе посмеивается Тимоша.

– Ты бы не пил-то хоть так, вредно ведь тебе.

Нет, хоть ты что. Пьет, не отстаёт, по старому своему обычаю – пиво с водкой. И все в красный ситцевый платок покашливает: платчище себе завел – веретье целое.

– А это, – говорит, – чтобы в благородном месте на пол не харкать.

Ударили к вечерне. Старик Чурилов переложил серебро из правой руки в левую и перекрестился, истово, степенно так.

– Эй, Митька, получи! – крикнул Чернобыльников.

Вышли вчетвером. Веселится весеннее солнце, приплясывают колокола. Как-то и расходиться-то неохота, компанию разбивать.

– Эх, люблю я пасхальную вечерню, – зажмурил глаза Тимоша. – Плясовая, а не вечерня. Пойдем всем обществом, а?

Барыба позвал в монастырь, благо он тут близко:

– А после вечерни к монаху одному знакомому чай пить сведу, – чудак такой.

Казначейский зять вынул часы:

– Никак нельзя, обещался к обеду, а у казначея опаздывать не принято.

– Ох, вот ушиб-то: не принято! – Тимоша засмеялся, закашлялся, полез за платком: нету. – Стой, ребята, платок наверху обронил. Сейчас сбегаю.

Взмахнул ручками, вспорхнул, – воробейчик.

Позванивают колокола веселые, идет нарядный народ к веселой пасхальной вечерне.

– Погоди-ка, орут наверху... чего там такое? – наострил Барыба большие свои нетопырячи уши.

Казначейский зять скорчил мину.

– Опять, наверно, драка. Не умеют держать себя в общественном месте.

Дз-зынь! – высадили вверху стекло, осколки со звоном – вниз. И сразу затихло.

– Ого, – прислушался Чернобыльников, – нет, тут что-то...

И вдруг кубарем, красный, взлохмаченный, выкатился, задыхаясь, Тимоша.

– Там они... вверху... приказали. И все... подняли руки и стоят.

Тр-рак, тр-рак! – затрещало вверху.

Казначейский зять вытянул длинную шею и стоял секундочку, глядя вверх одним глазом, как индюк на коршуна. Потом закричал тонко и жалостно: стреля-яют! И пустился наутек.

А на лестнице загромыхали сапожищами, заревели, сыпались все сверху.

– И-и-и! Держи-и...

И опять: тр-рак, тр-рак.

На секунду: в дверях впереди всех – красное безглазое лицо.

«Должно быть, это со страху он закрыл глаза», – мелькнула мысль.

А он, безглазый, уж в переулочке напротив, уж сгинул. И следом сверху высыпались все как пьяные – дикие, распоясанные, гончие.

– Держи-и его! Не пуца-ай! ВО-ВОТ-ВОТ он!

Кого-то внизу у подъезда сграбастали, накиннулись, притиснули, колотили – и все-таки ревели: держи-и, – так уж просто, нужно было вылиться через глотку.

Нагнувши голову, как баран, пробился Барыба вперед. Зачем-то это нужно было, чуял всем нутром, что нужно, стиснул железные челюсти, шевельнулось что-то древнее, звериное, желанное, разбойничье. Быть со всеми, орать, как все, колотить, кого все.

На земле, в кругу, лежал мальчишечка – чернявенький такой, с закрытыми глазами. У рубахи воротник сбоку разодран, на шее – черная родинка.

Старик Чурилов стоял в середине круга и пинал мальчишечку ногою в бок. Такая степная, борода тут вся у него склочена, рот перекошен – куда вся богомольность девалась.

– Унесли! А, дьяволы! Убег один, со ста рублям убег! А, дьяволы?

И опять пинал. Из-за его спины тянулись к лежащему потные кулаки, но не смели: у Чурилова украли, он, стало, и хозяин тут, ему и бить.

Откуда-то вынырнул вдруг Тимоша, прямо перед носом у Чурилова-старика, – вскочил, красный, злой, и заклевал его, засыпал, замахал руками.

– Ты что ж это, хрыч старый, нехристь, злыдень? Убить мальчика-то за сто целковых хочешь? Может, и убил уж? Гляди, не дышит. Дьяволы, звери, али человек-то и ста целковых не стоит?

Старик Чурилов сначала опешил было, а потом окрысился:

– Ты что, заодно с ними? Заступник? Ты, брат, гляди. Тоже разговоры хорошие в трактире разводишь, люди-то слышали. Держите его, православные!

Подошли было ближе, но замялись: все-таки Тимоша свой как будто, а эти были не нашенские. Так это, зря, наверно, старик...

Краснорожий, рыжий мещанин, маклак лошадей, по случаю праздника напялил бумажные манжеты. В свалке манжеты сползли вниз, между рукавом и белым торчали рыжие волосы, и еще страшней были его огромные руки.

Руки протянулись к Тимоше и легонько выпихнули его из круга. Рыжий мещанин сказал:

– Проваливай, проваливай, пока цел, заступник. Без тебя управимся.

И деловито начал обшаривать чернявенького мальчонку, переворачивая его, как тушу.

* * *

Куда уж там в монастырь идти – до того ли? Весь вечер у Тимоши просидел Барыба. Чернобыльников подошел попозже. И рассказал:

– Иду я, значит, по Дворянской... Слышу, на лавочке у ворот сидят и рассказывают: «А помогал, говорит, им наш же Тимошка-портной, вот пропащий-то человек».

– Дураки, – сказал Тимоша. – Сплетники. А Чурилову, злыдню, дьяволу, так и надо. Что ему от сотни – убудет? А они, может, два дня не ели?

Помолчал и прибавил:

– Ну, неуж и до нас дойдет? А коли бы дошло – ей-богу, в самый бы омут полез. Укокошат – ну туда и дорога, все равно – моей жизни полвершка осталось.

21. Исправниковы хлопоты

Ну, вот, не было печали, так черти накачали. Руки вверх, туда же, это у нас-то! А теперь хлопот у исправника Ивана Арефьича – не оберешься.

Понаехали из губернии, суд военный, – и всё из-за какого-нибудь поганца-мальчишки. Председатель, полковник, худой, с седым бобриком, желудком страдал. Вот горя-то зазнал с ним Иван Арефьич! Того ему нельзя есть, другого нельзя – ну, сушая напасть.

В первый раз, как приехали гости незваные, Иван Арефьич устроил завтрак на диво: бутылки на столе, коробки распечатанные, окорока, кулебяка. А полковник позеленел даже весь от злости. Туда-сюда вилкой ткнет, понюхает:

– Кажется, очень жирно.

И скиснет, и не ест. Исправничиха Марья Петровна вся исстрадалась:

– Ах, ради Бога, полковник, что же вы не кушаете? «Ну, уж и влетит, должно быть, теперь моему Ивану Арефьичу».

Зато прокурор-душа поддержал. Круглячок, лысенький, розовый, как поросеночек. В баню, наверно, раза два в неделю ходит. И все закатывается, хохочет и всего по два куска себе накладывает.

– Ну-ка, еще кулебяки-то матушки. Только, знаете, по таким заплесневелым местам, вроде вашего посада, теперь на Руси и умеют по-настоящему, по-старинному, пироги печь...

А вечером у исправника в кабинете зажжены на письменном столе свечи (никогда в жизни не зажигались), разложены бумаги. Иван Арефьич пыхтит своей папиросой-пушкой и отгоняет дым в сторону: не дай Бог, в полковника дым попадет.

Полковник перечитал бумаги и поморщился кисло:

– Что же мы, с одним с этим мальчишкой будем возиться? Когда от него ни полслова не добьешься. Ужасно обидно. На то вы и исправник, чтобы уметь разыскать.

* * *

На кровати сидя, сапоги стягивал Иван Арефьич и все к исправничихе приставал:

– Уж я и ума не приложу, Маша. Подай им еще, одного мало. Да откуда я возьму, коли он уберет? Да, вот что еще не забудь: полковнику завтра к двенадцати геркулесу на молоке, уварить хорошенько, да бутылку нарзану. Ох, боюсь я его, как бы не напакостил, злющий!

Марья Петровна записала:

– Геркулес... Нарзан... А ты вот что, Иван Арефьич, посоветовался бы ты с Моргуновым. Он пройда, он чего хочешь достанет, – ей-богу, попробуй.

Иван Арефьич зарубил себе это на носу и спал поспокойнее малость.

* * *

На площади перед полицией, перед желтыми облупленными стенами – базар. Поднятые вверх и связанные оглобли, лошади с привязанными мешками овса у морд, визгливые поросята, кадушки с кислой капустой, возы с сеном. Хлопают по рукам, торгуясь; зазывают звонко; скрипят телеги; кучер земского в безрукавке пробует гармонику.

А в исправниковом кабинете чинят допрос. Полковник с тоскою вслушивается в себя, внутри: в животе глухо урчит. «Ах, Господи, целую неделю не было, а теперь опять, кажется...»

Старик Чурилов вошел, степенный, длиннополый, лунь седая. Перекрестился.

– Как было-то? Да вот как, ежели все по порядку...

Рассказал, утерся ситцевым платком. Постоял, подумал: «Хорошо бы нажалиться на Тимошку-дерзеца, начальство, кажись, доброе».

– Вот еще, ваши благородия, есть тут портной Тимошка, – пропащий человек, дерзец. За мальчишку этого заступаться стал – за этого самого, какой стрелял-то. А я ему: ты, мол, из ихних, что ли? А он меня при всем при народе...

Старика отпустили. Прокурор потер мягкие потные ручки, расстегнул нижнюю пуговицу на мундире и сказал тихонько полковнику:

– Гм. Тимоша этот... Как вы думаете?

За окном торговались, кричали, скрипели. Полковник не выдержал:

– Иван Арефьич, да закройте окно! Голова трещит. Что за манера – базар перед самым кабинетом!

Иван Арефьич, на цыпочках, закрыл окно и позвал:

– Следующий.

Томно, жеманясь, рассказывал казначейский зять. Прокурор спросил:

– Так, значит, он вернулся в трактир, а потом опять выбежал? Ага. Ну, а платок? Вы о платке, кажется, что-то упоминали? Он за платком вернулся?

Казначейский зять вспомнил исплеванный красный Тимошкин платок, кисло поморщился и сказал гнусавя, с досадой:

– Какой платок? Я никакого платка не помню.

Как-то неприлично даже было и вспоминать-то ему об этом платке.

Барыба привычным нюхом шел за вопросами прокурора. И когда дошло до платка, он уверенно сказал:

– Нет, платка никакого не было. Сказал просто: дело наверху есть.

Когда отпустили Барыбу, прокурор хлебнул холодного чаю и сказал полковнику:

– Прикажете написать постановление о задержании этого самого Тимоши? По-моему, все эти показания... Я знаю, вы иногда чересчур осторожны, но тут...

У полковника в кишках схватывало, подкатывалось, и он думал:

«Черт знает! Эта исправничиха, толстая дура, что за провинциальная манера делать все жирным...»

– Так, я говорю, полковник...

– Ах, отстаньте, ради Бога! Пишите, что вам угодно. У меня ужасно живот болит.

22. Шесть четвертных

Как забрали Тимошу, никто даже и не удивился.

– Давно туда и глядел.

– Язык-то распускать он мастер был. Непочетник! О Боге-то все равно вон как об лавочнике Аверьяне разговаривал.

– И всюду, куда не следует, носом совался, обо всех судил. Скажи пожалуйста, какая нашлась Маремьяна-старица – обо всех печалится.

А Моргунов сказал:

– Такие головы у нас недолго держатся. Вот мы с Барыбой поживем.

Похлопал Барыбу по спине и поглядел на него иконописными своими глазищами, не то презрительно, не то ласково: поди-ка у него разбери – притворник он.

Вечером в тот же день Семена Семеныча к себе пригласил исправник Иван Арефьич – на чашку чаю. И умолял Христом-Богом:

– Наставьте вы этого своего... как его там... на путь истинный. Ну да, Барыбу-то этого. Чтобы поопределенней как-нибудь на суде показал. Я ведь знаю, он у вас специалист, ну чего там, чего там, люди свои. Ей-богу, они мне всю шею отвертели, губернские эти, разделаться бы с ними – да и с колокольни долой. А уж этот полковник с своими привередами: то ему не так, это не эдак...

Поторговались, сошлись на шести четвертных.

– Ну, чего там мало – не мало. И этому... как его... местишко какое-нибудь можно, Барыбе этому устроить. Чего ж еще лучше? Ну, писарем там, урядником...

А на другой день, за кронберговским пивом, Моргунов подходами всякими подходил к Барыбе, улещал его. Барыба все мялся.

– Да мы с ним вроде приятели были, чудно очень как-то, неловко.

– Эх, милый, нам ли с тобой стесняться да думать над чем-нибудь? С головою ведь увязнем, сгинем. Как это в сказке какой-то: оглянуться – помереть со страху. Так уж лучше без оглядки. Да оно ведь до суда-то еще и далеко. Коли оскомина будет – отказать успеешь.

«А и правда, черт с ним, все равно чахотка там эта... А тут бы местишко еще если заполучить... Что же, весь век, что ли, с хлеба на квас?» И вслух Барыба сказал:

– Разве что для вас только, Семен Семеныч. Кабы не вы – ни за что.

– Кабы не я... Да я, голубь, знаю, что без меня такого бы сокровища из тебя не вышло. Ни то бы, ни се. А теперь...

Он помолчал, потом вдруг нагнулся к Барыбину уху и шепотом:

– А тебе черти не снятся? А я каждую ночь во сне вижу, каждую ночь – понимаешь?

23. Мураш надоедный

Согласился, и к исправнику ходил, и исправник кучу целую денег дал и наобещал такого... Тут бы Барыбе и радоваться. А вот – нудило что-то, мешало. Какой-то вот комарик маленький, мураш, залез в нутро и елозит там, и елозит, и никак его не поймать, не раздавить.

Ложился спать Барыба и думал:

«Завтра вечером. Значит, еще целый день до суда. Захочу вот, пойду и откажусь. Сам себе господин».

Спал и не спал. И все будто додумывал во сне недодуманную какую-то мысль:

«Да и жизни-то всего в нем полвершка».

И опять снилось уездное, экзамены, поп, засовывающий бороду в рот.

«Опять провалюсь, второй раз», – думал Барыба.

И додумывал:

«А мозговатый он был, – Тимоша, это уж правду сказать».

«Почему «был»? Как же «был»?»

Совсем распялил в темноте свои глаза и не мог больше спать. Елозил мураш надоедный, томил.

«Почему «был»?»

24. Прощайте

Поздно уж, о полдень, проснулся Барыба в Стрелецкой своей комнатухе: все кругом было светлое, ясное, и таким простым все открылось, что нужно было на суде сделать. Будто ничего этого, что ночью томило, – ничего такого и не было.

Принесла Апрося самоварчик, ситный и стала у порога. Рукава засучены, левую ладонь – под локоть правой руки, а на правую руку немудрую свою голову положила. И слушать бы Анфима Егорыча, слушать, вот так стоять, ужахаясь, вздыхая жалобливо, покачивая головой сердобольно.

Кончил Барыба чай пить. Сюртук Анфиму Егорычу подала Апрося и сказала:

– Чтой-то весел ты нынче, Анфим Егорыч. Али деньги получать?

– Получать, – сказал Барыба.

На суде Тимоша – ничего, бодрился, вертел головкой, и шея у него была длинная, тоненькая, такая тоненькая – поглядеть страшно.

А чернявый мальчишечка совсем какой-то чудной был: осел весь, вроде как бы у него все кости стали вдруг мягкие, растаяли. Так и валился на сторону. Конвойный то и дело выправлял его и прислонял к стенке.

Барыба говорил уверенно и толково, но торопился: все же отсюда поскорее бы куда-нибудь уйти. Когда он кончил, прокурор спросил:

– Что же вы раньше-то молчали? Столько ценного материала.

Суд собрался уходить уж, как Тимоша вскочил вдруг и сказал:

– Да. Ну, так прощайте, все!

Никто не ответил.

25. Утром в базарный день

Утром, в веселый базарный день, перед острогом, перед местами присутственными – визг поросят, пыль, солнце; запах от возов с яблоками и лошадей; спутанный, облепленный базарным гамом колокольный звон – где-то идет крестный ход, просят дождя.

Исправник Иван Арефьич, в позеленелом мундире, с папирсой-пушкой, довольный, вышел на крыльцо и сказал, строго глядя в толпу:

– Преступники понесли законное наказание. Пре-ду-пре-ждаю вас...

В толпе, тихой, вдруг зашуршало, закачалось: как в лесу налетел ветер.

Кто-то скинул шапку и перекрестился. А в задних рядах, подальше от исправника, голос сказал:

– Висельники, дьяволы!

Иван Арефьич круто повернулся и ушел. И сразу перед крыльцом – как проснулись. Загамели все сразу, поднимались руки, всякому хотелось, чтобы его-то и услышали. Отмахивал саженки рыжий мещанин.

– Врут, не повесили, – убежденно говорил он. – Немысленное дело: как это можно живого повесить? Да нешто он дастся, живой-то? Руками, зубами будет... А чтоб живой дал себе на шею вздеть – да нешто это мысленное дело?

– То-то вот и оно, образование-то, книги-то, – говорил старик из торговцев. – Тимошка-то, он не в меру умен был, Бога забыл, вот оно...

Рыжий мещанин злобно поглядел на старика сверху и увидел, что из ушей у него растут волосы, длинные и седые.

– Молчал бы, сам в гроб глядишь, – сказал рыжий. – Гляди, из ушей уж волосы выросли.

Старик повернулся сердито и, вылезая из толпы, бормотал:

– Развелись всякие... Кончилось в посаде старинное житье, взбаламутили, да.

26. Ясные пуговицы

Белый, ни разу не стиранный еще китель, серебряные солнышки пуговиц, золотые жгуты на плечах.

«Мать пресвятая! Неужели это правда? Балкашинский двор и все такое – а вот теперь иду я, Барыба, в погонах?»

Пощупал: тут, есть. Ну, стало быть, правда.

От нотариуса, из подъезда с вывеской, вышел с сумкой почтальон Чернобыльников. Остановился, приглядывался. Отдал честь, балуясь:

– Господину уряднику.

А Барыба захолонул от гордости. Небрежно подбросил к козырьку руку.

– Давно произвели?

– Да вот, дня три. Китель только нынче кончили. Хлопот теперь – форму шить.

– Ва-ажно! Начальство, стало быть? Ну, честь имею.

Распростились. Барыба шел дальше: надо сегодня являться к исправнику. Шел и сиял, сытый собою, майским солнцем, погонами. И улыбался четырехугольной улыбкой.

У острога Барыба остановился, спросил у будочника:

– Иван Арефьич у себя?

– Никак нет, уехали на убийство.

И будочник, от которого когда-то прятался воровавший по базарам Барыба, – будочник вежливо козырнул.

Барыба даже и рад был, что исправник уехал на убийство: походить бы еще по солнцу в новом кителе, и чтобы все козыряли. «Эх, хорошо жить на свете! И дурак же – чуть-чуть было не отказался». Сжимались железные челюсти, – разгрызть бы теперь какие-нибудь самые крепкие камушки, как бывало в уездном.

– Эге-э! Вот что! Вот когда к отцу-то пойти. Дурак старый – прогнал, а пусть-ка теперь поглядит.

Мимо чуриловского трактира, мимо пустых ярмарочных ларьков, по тротуару из прогнивших досок, а потом и совсем без тротуара, переулочком – по травке.

У обитой оборванной клеенкой двери – эх, старая знакомая! – остановился на минуточку. Почти что любил отца. Э, да что там, весь посад бы сейчас расцеловал: как же не расцеловать, когда в первый раз надет китель с погонами, с ясными пуговицами.

Постучал Барыба. Вышел отец. У-у, брат, постарел-то как! Седая щетина на щеках, спустил очки на нос, долго глядел. Узнал – не узнал, кто его знает – молчит.

– Чего надо? – буркнул.

Ишь, сердитый какой. Ну, не узнал, ясно дело.

– Ну, не узнаешь, старик? А прогнал-то меня, помнишь? Однако, теперь вот – видишь.

Три дня как произвели.

Старик высморкался, вытер пальцы о фартук и спокойно сказал:

– Слышал об тебе, слышал, как же. Добрые люди говорят.

Опять посмотрел поверх очков спокойно.

– И про Евсея, про монаха. И про портного тоже.

Запрыгала вдруг седая щетина на подбородке.

– И про портного, как же, как же.

И вдруг весь затрясся старик и завизжал, забрызгал слюной.

– Во-он из мово дому, вон, негодяй! Я т-тебе сказал, чтоб ты не смел к порогу мому приступать. Пошел во-он, вон!

Очумелый, вытаращил глаза Барыба и стоял, долго никак не мог понять. Когда прожевал, молча повернулся и пошел назад.

* * *

Мутнело уже на улице. Сумрачный ветерок потягивал из окна.

В чуриловском трактире за столиком, расставив ноги, руки в карманах, сидел Барыба, здорово уже нагрузившись. Бормотал под нос:

– Ну, и наплевать. Из-з ума выжил. Нап-плевать...

Но уже осело что-то на дне, замутило что-то. Не было веселого майского дня.

В уголку против Барыбы примостились у столика трое краснорядских приказчиков: один, пригнувшись, рассказывал что-то, двое слушали. И вдруг все трое грахнули, залились. Должно быть, что-нибудь уж очень чудное.

– А-а, так? А-а, ты так? Так я им, й-я им п-покажу всем, – бормотал Барыба под нос.

Глаза у него заплыли, щерился злой четырехугольный рот, напряглись жевательные железные желваки. Приказчики опять весело грахнули. Барыба вынул вдруг руку из кармана и постучал ножом по тарелке – пьяными, спотыкающимися ударами.

Подскочил половой, Митька – скугаревая башка, нагнулся, ухмыляясь одной щекой, обращенной к приказчикам, и выражая почтенье другой щекой – господину уряднику. Приказчики вытянули носы и слушали.

– Пс-слушай. С-скажи им, что й-я им не п-пзволю смеяться. Й-я им... У нас теперь смеяться с-строго не д-дозволяется... Нет, пс-стой, я сам!

Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громыхая, задвигался к приказчикам. Будто и не человек шел, а старая воскресшая курганная баба, нелепая русская каменная баба.

1912

На куличках

1. Божий зевок

Есть у всякого человека такое, в чем он весь, сразу, чем из тысячи его отличишь. И так же у Андрея Иваныча – лоб: ширь и размах степной. А рядом нос – русская курнофеечка, белобрысые усики, пехотные погоны. Творил его Господь Бог, размахнулся: лоб. А потом зевнул, чего-то скушно стало – и кой-как, тяп-ляп, кончил: сойдет. Так и пошел Андрей Иваныч с Божьим зевком жить.

Вздумал прошлым летом Андрей Иваныч – в академию готовиться. Шутка ли сказать: на семьдесят рублей одних книг накупил. Просидел над книгами все лето – и случилось в августе на Гофманский концерт попасть. Господи Боже мой: сила какая. Куда уж там академией заниматься: ясное дело – быть Андрею Иванычу Гофманом. Недаром же все в полку говорили: так Андрей Иваныч играет Шопеновский похоронный марш – без слез слушать нельзя.

Под диван все книги академические, взял учительницу, засел Андрей Иваныч за рояль: весной в консерваторию поедет.

А учительница – светловолосая, и какие-то у ней особенные духи. Вышло: вовсе не музыкой занимался с ней Андрей Иваныч всю зиму. И пошла консерватория прахом.

Что же, так теперь и прокисать Андрею Иванычу субалтерном в Тамбове каком-то? Ну, уж это шалишь: кто-кто, а Андрей Иваныч не сдастся. Главное – все сначала начать, все старое – к черту, закатиться куда-нибудь на край света. И тогда – любовь самая настоящая, и какую-то книгу написать – и одолеть весь мир...

Так вот и попал Андрей Иваныч служить – на край света, к чертям на кулички. Лежит теперь на диване – и чертыхается. Да как же, ей-богу: третий день приехал – и третий день от тумана не продыхнуть. Да ведь какой туман-то: оторопь забирает. Густой, лохматый, как хмельная дрема – муть в голове – притчится какая-то несуразная нелюдь – и заснуть страшно: закружит нелюдь.

Хоть какого-нибудь человеческого голоса захотелось – наваждение свалить. Кликнул Андрей Иваныч денщика.

– Эй, Непротошнов, на минутку!

Как угорелый, влетел денщик и влип в притолку.

– Скушно у вас, Непротошнов: туман-то, а?

– Н-не могу знать, ваше-бродие...

«Фу ты, Господи: какие глаза рыбы. Но можно же его чем-нибудь...»

– Ну что, Непротошнов, через год домой, а?

– Так тошно, ваше-бродие.

– Жена-то есть у тебя?

– Так тошно, ваше-бродие.

– Небось, по ней соскучился? Соскучился, говорю, а?

Что-то тускло мигнуло в Непротошнове.

– Как она, есть конкурент моей жизни, жена-то... то я... – и потух, спохватился, вытянулся Непротошнов еще больше.

– Да что: разлюбил, что ли? Ну?

– Н-не могу знать, ваше-бродие...

«О, ч-черт... Ведь вот: был, наверно, в деревне – первый гармонист, а теперь – рыбы глаза. Нет, надо будет от него отвязаться...»

– Ладно. Иди к себе, Непротошнов.

Отвалился Андрей Иваныч к подушке. В окно полз туман лохматый, ватный: ну просто не продыхнуть.

Перемогся – и хоть с храпом – а продыхнул Андрей Иваныч, и сам же услышал свой храп: заснул.

«Батюшки, что же это я – среди бела дня сплю...»

Но запутал туман паутиной – и уж не шевельнуть ни рукой, ни ногой.

2. Картофельный Рафаэль

– Их преосходительства господина коменданта нету дома.

– Да ты, братец, узнай хорошенько. Скажи, мол, поручик Половец. Половец, Андрей Иванович.

– Полове-ец?

У денщика генеральского – не лицо, а начищенный самовар медный: до того круглое, до того лоснится. И был себе самовар заглохший, а тут вдруг начал пузыриться, закипать:

– Полове-ец? Ах-и-батюшки, позабыл я, дома они. Половец – ну как же: – дома, пожалте.

Только заняты малость.

Денщик отворил из сеней дверь налево. Андрей Иванович нагнулся, вошел. «Да нет... да может, не туда?»

Дым коромыслом, чад, суета, шипит что-то, луком жареным пахнет...

– Кто та-ам? Поближе, поближе, не слы-ы-шу!

Андрей Иванович шагнул поближе:

– Честь имею явиться вашему превосходительству...

Да черт-те возьми: да уж он ли это, генерал ли? Передник кухарский и беременное пузо, подпертое коротышками-ножками. Голая, пучеглазая, лягушачья голова. И весь разлтый, растопыренный, лягва огромная, – может, под платьем-то и пузо даже пестрое, бело-зелеными пятнами.

– Явиться? Гм, хорошее дело, хорошее дело... офицеров у меня мало. Запивох – это сколько угодно, – буркнул генерал.

И опять занялся своим делом: тонкими на диво ломтиками кромсал крупичатый белый картофель. Нарезал, вытер фартуком руки, сигнул бочком к Андрею Ивановичу, уставился, обглядел и закричал сердито, снизу откуда-то, как водяной из бучила:

– Ну, что за нелегкая сюда занесла? Майн-Ридов начитался, а? Сидел бы себе, голубеночек, в России, у мамыши под подолом, чего бы лучше. Ну что, ну зачем? Возись тут потом с вами!..

Андрей Иванович оробел даже: уж очень сразу наскочил генерал.

– Я, ваше превосходительство... Я в Тамбове... А тут, думаю, море... Китайцы тут...

– Ту-ут! Едут сюда, думают тут...

Но не кончил генерал: зашипело что-то на плите предсмертным шипом, закурился пар, паленым запахло. Мигом генерал пересигнул туда и кого-то засыпал, в землю вбил забористой руганью.

Тут только оглядел Андрей Иванович поваренка-китайца в синей кофте-курме: стоял он перед генералом, как робкий звереныш какой-то на задних лапках.

– Р-раз, – и чмокнулась в поваренка звонкая оплеуха.

А он – ничего: потер только косые свои глаза кулачками, чудно так, быстро, по-заячьи.

Отдувался генерал, плескалось под фартуком его пузо.

– Уф-ф! Замучили, в лоск. Не умеют, ни бельмеса не смыслят: только отвернись – такого настряпают... А я смерть не люблю, когда обед так вот, шата-валя, без настроения варганят. Пища, касатик, дар Божий... Как это, бишь, учили-то нас: не для того едим, чтобы жить, а для того живем, чтобы... Или как бишь?

Андрей Иванович молча во все глаза глядел. Генерал взял салфетку и любовно так, бережно, перетирал тонкие ломтики картофеля.

– Картошка вот, да. Шваркнул, мол, ее на сковородку и зажарил, как попало? Вот... А которому человеку от Бога талант даден, тот понимает, что в масле ни в ко-ем слу-чае... Да

в масле? Да избави тебя Бог! Во фритюре – обязательно, непременно, запомни, запиши, брат – во фритюре, раз-на-всегда.

Генерал взял лимон, выжимал сок на ломтики картофеля, Андрей Иваныч насмелел и спросил:

– А зачем же, ваше превосходительство, лимон?

Видимо, пронзило генерала такое невежество. Отпрыгнул, орет откуда-то снизу – водяной со дна из бучила:

– Ка-ак зачем? Да без этого ерунда выйдет, профанация. А покропи, а сухо-насухо вытри, а поджарь во фритюре... Картофель а la luona se – слышал? Ну, куда-а вам! Сокровище, перл, Рафаэль! А из чего? Из простой картошки, из бросовой вещи. Вот, миленок, искусство что значит, творчество, да...

«Картошка, Рафаэль, что за чушь! Шутит он?» – поглядел Андрей Иваныч.

Нет, не шутит. И даже – видать еще вот и сейчас – под пеплом лица мигает и тухнет человечьё, далекое.

«...Пусть картофельный, – хоть картофельный Рафаэль».

Андрей Иваныч поклонился генералу, генерал крикнул:

– Ларька, проводи их к генеральше. До свидания, голубенок, до свидания...

Бывают в лесу поляны – порубки: остались никчемушние три дерева, и от них только хуже еще, пустее. Так, вот, и зал генеральский: редкие стулья; как бельмо – на стене полковая группа. И как-то некстати, ни к чему, – приткнулась генеральша посередине зала на венском диванчике.

С генеральшей сидел капитан Нечеса. Нечесу Андрей Иваныч уже знал: запомнил еще вчера включенную его бороду в крошках. Поклонился генеральше, поцеловал Андрей Иваныч протянутую руку.

Генеральша переложила стаканчик с чем-то красным из левой руки опять в правую и сказала поручику, однотонно, глядя мимо:

– Садитесь, я вас – давно – не видала.

«...То есть как – давно не видала?»

И сразу сбила с панталыку Андрея Иваныча, выскочила из головы у него вся приготовленная речь.

Капитан Нечеса, кончая какой-то разговор, пролаял хрипло:

– Так вот-с, дозвоьте вас просить – в крестные-то, уж уважьте...

Генеральша отпила, глаза были далеко – не слыхала. Сказала – ни к селу ни к городу – о чем-то о своем:

– У поручика Молочки пошли бородавки на руках. Кабы еще на руках, а то по всему по телу... Ужасно неприятно – бородавки.

Как сказала она «бородавки» – так за спиной у Андрея Иваныча что-то шмыгнуло, фыркнуло. Оглянулся он – и увидел позади, в дверной щели, чей-то глаз и веснучатый нос.

Капитан Нечеса повторил умильно:

– ...Уважьте – в крестные-то!

Должно быть теперь услышала генеральша. Засмеялась невесело, треснуто – и все смеется, все смеется, никак не перестанет. Еле выговорила, к Андрею Иванычу обернувшись:

– Девятым, разрешилась капитанша Нечеса, – девятым. Пойдемте со мной, – в крестные отцы?

Капитан Нечеса закомкал свою бороду:

– Да, матушка, простите Христа ради. Уж есть ведь крестный-то. Жилец мой, поручик Тихмень, обещано ему давно...

Но генеральша уж опять не слыхала, опять – мимо глядела, прихлебывала из стаканчика...

Андрей Иванович и капитан Нечеса ушли вместе. Хлюпала под ногами мокреть, капелью садился на крыши туман и падал оттуда на фуражки, на погоны, за шею.

– Отчего она какая-то такая... странная, что ли? – спросил Андрей Иванович,

– Генеральша-то? Господи, хорошая баба была. Ведь я тут двадцать лет, как пять пальцев вот... Ну, вышла такая история – да лет семь уж, давно! – младенец у ней родился – первый и последний, родился да и помер. Задумалась она тогда – да так вот задуманной и осталась. А как опомнится – такое иной раз, ей-богу, ляпнет... Да вот – Молочко, бородавки-то: и смех ведь, и грех!

– Ничего не понимаю.

– Поживете – поймете.

3. Петяшку крестят

Ну, ладно. Ну, родила капитанша Нечеса девятого. Ну – крестины, – как будто что ж тут такого? А вот у господ офицеров – только и разговору, что об этом. Со скуки это, что ли, от пустоты, от безделья? Ведь и правда: устроили какой-то там пост, никому не нужный, наставили пушек, позагнали людей к чертям на кулички: сиди. И сидят. И как ночью, в бессонной пустоте, всякий шорох мышинный, всякий сучок палый – растут, настораживают, полнят всего, – так и тут: встает неизмеримо всякая мелочь, невероятное творится вероятным.

Оно, положим, с девятым младенцем капитанши Нечесы не так уж просто дело обстоит: чей он, поди-ка раскуси? Капитанша рожает каждый год. И один малюкан – вылитый Иваненко, другой две капли воды – адъютант, третий – живой поручик Молочко, как есть – его розовая, телячья мордашка... А чей, вот, девятый?

И пуще всех тот самый Молочко взялся за дело. Очень просто почему. В прошлом году его в отцы капитаншину младенцу обрядили, проздравили и угощенье требовали, – хотелось и ему теперь кого-нибудь подсидеть.

– Господа, да стойте же, – подпрыгнул Молочко как козлик, как теленочек веселый, молочком с пальца поеный, – господа, да ведь – Тихмень же жилец-то ихний... Да неужто же капитанша его не приспособила? Не может того быть! А коли так, то...

– Бр-раво, и Молочко догадлив бывает, браво!

Так на Тихмене и порешили: может и не виноват он ни телом, ни духом, да уж очень над ним лестно потешиться, за тем, что Тихмень неизменно серьезен, длиннонос и читает, черт его возьми, Шопенгауэра, там, или Канта, какого-то.

И, чтобы Тихменя захватить врасплох, чтобы не сбежал, только лишь за полчаса до крестин этих самых послали Молочко предупредить капитаншу о нашествии иноплеменных. По-тутошнему называлось это: «пригласиться».

Капитанша лежала в кровати, маленькая и вся кругленькая: круглая мордочка, круглые быстрые глазки, круглые кудряшечки на лбу, кругленькие – все капитаншины атуры. Только, вот, сейчас вышел из спальни капитан, чмокнув супругу в щеку. И еще не затих, позванивал на полочке пузыречек какой-то от капитановых шагов, когда вошел поручик Молочко и, сказав: «здравствуй», – чмокнул капитаншу в то же самое на щеке место, что и капитан.

Страсть не любила капитанша вот таких совпадений, положительно – это неприличное что-то. Сердито закатила круглые глазки:

– Чего целоваться лезешь, Молочишко? Не видишь, – я больна?

– Ну, ладно уж, ладно, целомудренная стала какая!

Уселся Молочко возле кровати. «Как бы это к Катюшке подъехать, чтобы приглашаться не сразу?»

– А знаешь, – подпрыгнул Молочко, – был я у Шмитов, целуются все, можешь себе представить? Третий год женаты – и до сих пор... Не понимаю!..

Капитанша Нечеса поздоровела, зарозовела, глазки раскрылись.

– Уж эта мне Марусечка Шмитова, уж такая принцесса на горошине, фу-ты ну-ты... Знаться ни с кем не желает. Вот, дайкось, Бог-то ее за гордость накажет...

Переполюскали, перемыли Марусины косточки – и не о чем больше. Видно, делать нечего – надо начинать. Прокашлялся Молочко.

– Видишь ли, Катюша... Н-да... Ну, одним словом, мы все собираемся на крестины, хотим пригласиться. Надо отцом проздравить Тихменя. Я придумал, можешь себе представить?

Никак и не ждал Молочко, что так сразу согласится Катюшка. Залилась она кругленько, закатилась, под одеялом ножками забрыкала, за живот даже держится: ой, больно...

– Ну, и выдумщик ты, Молочишко: Тихменя – в отцы, а? Тихменя нашего длинноносого! Так его и надо, а то больно зачитался...

И вот – крестили. Генеральша улыбалась, глядела куда-то вверх, глазами была не здесь. Заспанным голосом читал по требнику гарнизонный поп. Вся ряса на спине была у него в пуху.

Неотрывно глядел на пушинки эти крестный, поручик Тихмень. Длинный, тощий, весь непрочный какой-то, стоял с ребенком на руках, удивленно водил своим длинным носом:

«Вот, ей-богу, ввязался я... Закричит это на руках, ну что я буду делать?»

А «это на руках» оказалось даже еще хуже: в ужасе почувал поручик Тихмень, что руки у него вдруг намокли, и из теплого свертка закапало на пол. Забыл тут Тихмень всякую субординацию, ткнул, как попало, крестника на руки генеральше и попятился назад. Бог его знает, куда бы запятился, если бы стоявшая сзади компания с Молочко во главе не водворила его на место.

Пришло время уж и в купель окунать младенца. Заспанный поп обернулся к генеральше ребенка взять. А она не дает. Прижала к себе и отпустить не хочет, и кричит:

– Не дам, а вот и не дам, и не дам, он мой!

Поп оробело пятился к двери. Батюшки мои, что ж это? Суматошились, шептали. Кабы не Молочко, так и не докрестили бы, может. Молочко подошел к генеральше, взял ее за руку, как свой, и шепнул:

– Отпустите, зачем вам этот, у вас будет свой, можете себе представить. Раз я говорю... Разве ты мне не веришь? Мне?

Генеральша засмеялась блаженно, отпустила. Ну, слава-те, Господи! С грехом пополам докрестили и Петяшкой нарекли.

Тут-то и приступили господа офицеры к поручику Тихменю. Одним разом, по команде, все низко поклонились:

– Честь вас имеем, папаша, проздравить с новорожденным, с Петяшкой, на чаек с вашей милости...

Замахал Тихмень руками, как мельница.

– Как это – папаша? Я и не хочу вовсе, что вы такое! Терпеть не могу...

– Да в детях-то, милый, ведь Бог один волен. Уж там, можешь терпеть, иль не можешь...

Пристали – хоть плачь. Делать нечего: вечером Тихмень угощал в собрании. И пошло с тех пор: каждый день на занятиях спрашивали его, как, мол, здоровье сынишки – Петяшки. Задолбили, заморочили Тихменю голову Петяшкой этим самым.

4. Голубое

Много ли человеку надо? Проглянуло солнце, сгинул туман проклятый – и уж мил Андрею Иванычу весь мир. Рота стоит и команды ждет, а он загляделся: шевельнуться страшно, чтобы не рухнули хрустальные голубые палаты, чтобы не замолкло золотой паутиной звенящее солнце.

Океан... Был Тамбов, а теперь Океан Тихий. Курит внизу, у ног, сонно-голубым своим куревом, мурлычет дремливую колдовскую песню. И столбы золотые солнца то лежали мирно на голубом, а то вот – растут, поднялись, подперли стены – синие нестерпимо. А мимо глаз плавно плывет в голубое в глубь Богородицына пряжа, осенняя паутинка, и долго следит Андрей Иваныч за нею глазами. Кто-то сзади его кричит на солдата:

– ...Где у тебя три приема? Ж-животина! Проглотил, смазал?

Но не хочет, не слышит Андрей Иваныч, не обертывается назад, все летит за паутиной...

– Ну что, танбовской? Или нравится – загляделся-то?

Делать нечего, оторвался, обернулся Андрей Иваныч. С усмешкой глядел на него Шмит – высокий, куда же выше Андрея Иваныча, крепкий, как будто даже тяжелый для земли.

– Нравится ли? Уж очень это малое слово, капитан Шмит. Ведь я, кроме Цны тамбовской, ничего не видал – и вдруг... Подавляет... И даже нет: весь обращаешься в прах, по ветру летишь вот, как... Это очень радостно...

– Да что-о вы? Ну-ну! – и опять Шмитова усмешка, может – добрая, а может – и нет.

Для Андрея Иваныча она была доброй: весь мир был добрый. И он неожиданно даже для себя, благодарно пожал Шмиту руку.

Шмит потерял усмешку – и лицо его показалось Андрею Иванычу почти что даже неприятным: неровное какое-то, из слишком твердого сделано, и нельзя было как следует заровнять – слишком твердое. Да и подбородок...

Но Шмит уже опять улыбался:

– Вы соскучились, кажется, со своим денщиком? Мне говорил Нечеса.

– Да, уж чересчур он – «точно так»... Хочу поменяться на какого угодно, только бы...

– Так вот, меняйтесь со мной? Мой Гусляйкин – пьяница, говорю откровенно. Но до чрезвычайности веселый малый.

– Спасибо, вот уж спасибо вам! Вы мне очень много...

Простились. Андрей Иваныч шел домой, весь еще полный голубого. Идти бы ему одному и нести бы в себе это бережно... Да увязался Молочко.

– Ну что, ну что? – подставлял он Андрею Иванычу розовую, глупоглазую свою мордочку: охота узнать что-нибудь новенькое, что бы можно было с жаром рассказать и генеральше, и Катюшке, и вечером в собрании.

– Да ничего особенного, – сказал Андрей Иваныч. – Шмит предложил денщика.

– Сам? Да что вы? Шмит ужасно редко заговаривает первый, – можете себе представить? А вы были у Шмитов? А у командира? Да бишь... командир в отпуску. Вот лафа – и вечном отпуску! Вот бы так, можете себе представить?

– У Шмитов еще не успел, – говорил Андрей Иваныч рассеянно, все еще думая о сонно-голубом. – Был у Нечесов, у генерала. Генеральша – вдруг, ни к чему, о бородавках...

Спохватился Андрей Иваныч, да было уж поздно. Маковым цветом заалел Молочко, заиндючился и важно сказал:

– По-жа-луйста! Просил бы... Я горжусь, что удостоен, можно сказать, доверия такой женщины... Бородавки тут абсолютно не при чем... Аб-со-лютно!

Надулся и замолчал. Андрей Иваныч был рад.

У трюхлявого деревянного домика Молочко остановился.

– Ну, прощайте, я здесь.

Но, попрощавшись, опять развернулся и в минуту успел рассказать про генерала, что он бабник из бабников, успел показать Шмитовский зеленый домик и что-то подмигнуть про Марусю Шмит, успел наболтать о каком-то непонятном клубе ланцепупов, о Петяшке поручика Тихменя...

Еле-еле стряхнул с себя все это Андрей Иванович. Стряхнул – и пошел снова сонный, заколдованный, поплыл в голубом, в сказочном, на тамбовское таком непохожем. Не видя, поводит глазами по деревянным, сутулым домишкам-грибам.

Вдруг застучали в окно, дробно так, весело.

«Кому – мне? – остановился Андрей Иванович перед зелененьким домиком. – Да нет, не мне», – пошел дальше.

В зелененьком домике распахнулось окно, кликнул веселый голос:

– Эй, новенький, новенький, подите-ка сюда!

Недоуменно подошел Андрей Иванович и фуражку снял. «Но как же – но кто же это?»

– Послушайте, давайте-ка познакомимся, все равно ведь придется. Я Маруся Шмит, слышали? Сидела у окна – и думаю: а дай постучу. Ой, какой у вас лоб замечательный! Мне о вас муж говорил...

Бормочет что-то Андрей Иванович и глаза развесил: узкая, шаловливая мордочка, – не то тебе мышонка, не то – милой дикой козы. Узкие и длинные, наискось немного, глаза.

– Ну что, дивитесь? Озорная? Да мне не привыкать! Смерть люблю выкомаривать. Я в пансионе дежурной была в кухне – изжарила начальнице котлету из жеваной бумаги... Ой-ой-ой, что было! А за Шмитов портрет... Вы Шмита-то знаете? Да Господи, ведь он же про вас и говорил мне! Вы приходите как-нибудь вечером, что за визиты!..

– Да с удовольствием. Вы извините, я сегодня так настроен как-то, не могу говорить...

Но увидел Андрей Иванович, что и она замолчала, и куда-та мимо него смотрит. Принамурилась малость. Возле губ – намек на недетские морщинки: еще нет их, когда-нибудь лягут.

– Паутинка, – поглядела вслед золотой Богородицыной пряже.

Перевела на Андрея Ивановича глаза и спросила:

– А вы когда-нибудь о смерти думали? Нет, даже и не о смерти, а вот – об одной самой последней секундочке жизни, тонкой вот – как паутинка. Самая последняя, вот, оборвется сейчас – и все будет тихо...

Долго летели глазами оба за паутинкой. Улетела в голубое, была – и нету...

Засмеялась Маруся. Может, засмутилась, что вдруг так – о смерти. Захлопнула окошко, пропала.

Пошел Андрей Иванович домой. «Все хорошо, все превосходно... И черт с ним, с Тамбовом. И чтоб ему провалиться. А здесь – все милые. Надо поближе с ними, поближе... Все милые. И генерал – что ж, он ничего...»

5. Сквозь Гуслиякина

С удовольствием спроводил Андрей Иванович своего так-точного истукана – Непротошнова. Полученный от Шмита Гуслиякин, действительно, оказался словоохотлив по-бабьи и не по-бабьи уж запивоха. То и знай, являлся с подбитой физиией, изукрашенный кусками черного пластыря (пластырь этот Гуслиякиным величался «кластырь» – от «класть»: очень даже просто). Но и такой – с заплатками черными, и пусть даже пьяненький – все же он был для глаз Андрей-Иванычевых милее, чем Непротошнов.

Гуслиякин приметил, видно, расположение нового своего хозяина и пустился с ним в конфиденции в знак благодарности. Видимо, у Шмитов Гуслиякин, как по бабьей его натуре и надобно, дневал-ночевал у замочных скважин да у дверных щелей. Сразу такое загнул что-то о Шмитовской спальне, что покраснел Андрей Иванович и строго Гуслиякина окоротил. Гуслиякин не мало был изумлен: «Господи, всякая барыня, да и всякий барин тутошний, – озолотили бы за такие рассказы, слушали бы, как соловья, а этот... да наве-рно – притворяется только...» – и опять начинал.

Как ни отбрыкивался Андрей Иванович, как ни выговаривал Гуслиякину, тот все вел свою линию и какие-то темные, жаркие, обрывочные видения поселил в Андрей-Иванычевой голове. То, вот, Шмит несет на руках Марусю, так, как ребенка, и во время обеда держит, кормит из рук... То почему-то Шмит поставил Марусю в угол – она стоит, и рада стоять. То наложили дров в печку, топят печку вдвоем, перед печкой – медвежья шкура...

И когда Андрей Иванович собрался, наконец, к Шмитам и сидел в их столовой, с милыми, избушечными, бревенчатыми стенами, – он прямо, вот, глаза боялся поднять: а вдруг она, а вдруг Маруся – по глазам увидит, какие мысли... Ах, проклятый Гуслиякин!

А Шмит говорил своим ровным, ясным, как лед, голосом:

– Гм... так, говорите, вам понравился Рафаэль картофельный? Да уж, хорош Сахар Медович! За хорошие дела к чертям на кулички генерала не засунули б. И теперь, вот, где солдатские деньги пропадают, где – лошадиные кормовые? Я уж чую, я чу-ую...

– Ну, Шмит, ты уж это слишком, – сказала Маруся ласково.

Не вытерпел Андрей Иванович: с противным самому себе любопытством поднял глаза. Шмит сидел на диване, Маруся стояла сзади под пальмой. Перегнулась сейчас к Шмиту и тихонько, один раз, провела по жестким Шмитовым волосам. Один раз, – но, должно быть, так нежно, должно быть, так нежно.

У Андрея Ивановича так и екнуло. «Но какое мне дело?» Никакого, да. А щемит все сильнее. «Если бы вот так когда-нибудь мне один раз, только один раз...»

Проснулся Андрей Иванович, когда Шмит назвал его имя.

– ...Андрей Иванович у нас один-единственный, агничик невинный. А то все на подбор. Я? Меня сюда – за оскорбление действием, Молочку – за публичное непотребство. Нечесу – за губошлепство. Косинского – за карты... Берегитесь, агничик: сгинете тут, сопьетесь, застрелитесь...

Может оттого, что Маруся стояла под пальмой, или от усмешки Шмитовой – но только невтерпеж – Андрей Иванович вскочил:

– Это уж вы, знаете, слишком, уж на это-то меня хватит, чтобы не спиться. Да и что вам за дело?

– Какой же вы! – засмеялась Маруся, золотая паутинка – самая последняя секундочка – зазвенела. – Ведь ты же, Шмит, шутишь? Ведь, да?

Опять нагнулась к Шмиту из-за дивана. «Только б не гладила... Не надо же, не надо», – молился Андрей Иванович, затаил дух... Кажется, она что-то спросила – ответил наобум Лазаря:

– Нет, благодарю вас...

– То есть, как – благодарю? Вы о чем же это изволите думать? Ведь я спросила, были ли вы у Нечесов.

И только, когда Шмит уходил, Андрей Иванович становился Андрей Ивановичем, нет никакого Гуслиякина, не надо бояться, что она погладит Шмита, все просто, все ласково, все радостно.

Когда вдвоем – тут и думать не надо, о чем говорить: само говорится. Так и скажут, и играют слова, как весенний дождь. Такой поток, что Андрей Иванович обрывает, не договаривает. Но она должна понять, она понимает, она слышит самое... Или, может, так кажется? Может, Андрей Иванович придумал себе свою Марусю? Ах, все равно, лишь бы...

Запомнился – уложен в ларчик драгоценный – один вечер. То все ведро стояло, теплень, без шинелей ходили, это в ноябре-то. А тут вдруг дунуло сиверком. Синева побледнела, и к вечеру – зима.

Андрей Иванович и Маруся огня не зажигали, сидели, вслушиваясь в шушуканье сумерек. Пухлыми хлопьями, шапками сыпался снег, синий, тихий. Тихо пел колыбельную – и плыть, плыть, покачиваться в волнах сумерек, слушать, баюкать грусть...

Андрей Иванович отсел нарочно в дальний угол дивана от Маруси: так лучше, так будет только самое тонкое, самое белое – снег.

– Вот, дерево теперь все белое, – вслух думала Маруся, – и на белом дереве – птица, дремлет уж час и два, не хочет улететь...

Тихое снежное мерцанье за окном. Тихая боль в сердце.

– Теперь и у нас, в деревне, зима, – ответил Андрей Иванович. – Собаки зимою ведь особенно лают, вы помните? Да? Мягко и кругло. Кругло, да... А в сумерках – дым от старновки над белой крышей, такой уютный. Все синее, тихое, и навстречу идет баба с коромыслом и ведрами...

Марусино лицо с закрытыми глазами было такое тревожно-бледное и нежное от снежных отсветов... Чтобы не видеть – уж лучше не видеть, – Андрей Иванович тоже закрыл глаза...

А когда зажгли лампу, ничего уж не было, ничего такого, что привиделось без лампы.

И эти все слова о дремлющей на снежном дереве птице, синем вечере – показались такими незначущими, не особенными.

Но запомнились.

6. Лошадиный корм

У русской печки – хайло-то какое ведь: ненасытное. Один сноп спалили и другой, и десятый – и все мало, и заваливают еще. Так, вот, и генерал за обедом: уж и суп поел, и колдунов литовских горку, и кашки пуховой гречишной покушал с миндальным молоком, и равиолей с десяток спровадил, и мяса черкасского, в красном вине тушенного, две порции усидел. Несет зайчонок-повар новое блюдо – хитрый какой-то паштет, крепким перцем пахнет, мушкатом, – как паштета не съесть? Душа генеральская хочет паштета, а брюхо уж по сих пор полно. Да генерал хитер: знает, как брэнное тело заставить за духом идти.

– Ларька, вазу мне, – квакнул генерал.

Покатился самоварный Ларька, мигом притащил генералу большую, длинную и узкую, вазу китайского расписного фарфора. Отвернулся в сторонку генерал и облегчился на древнеримский манер.

– Ф-фу! – вздохнул затем – и положил себе на тарелку паштета кусок.

За хозяйку сидела не генеральша: посади ее – натворит еще чего-нибудь такого. Сидела за хозяйку свояченица Агния, с веснущатым, острым носом. А генеральша устроилась поодаль, ничего почти что не ела, глазами была не здесь, прихлебывала все из стаканчика.

Покушав, генерал пришел в настроение:

– А ну-ка скажи, Агния, знаешь ли ты, когда дама офицером бывает, – ну, знаешь?

Веснущатая, дощатая, выцветшая Агния почуяла какую-то каверзу, заерзала на стуле. Нет, не знает она...

– Ух ты-ы! Как же ты не знаешь? Тогда дама бывает офицером, когда она бывает... в каком чине? В каком чине, а? Поняла?

Затрепыхалась, заалела, закашляла Агния: кх-кх-кх! Куда и деваться не знала. Чай, ведь – девица она – и этакое... скромное... А генерал заливался: сначала внизу, в бур-болоте на дне, а потом наверху, тоненькой лягушечкой.

Забылась Агния, занялась паштетом, глаза – в тарелку, быстро, быстро отправляла крошечные кусочки в рот. А генерал медленно нагибался, нагибался к Агнии, замер – да как гукнет вдруг на нее этаким басом, как из бучила:

– Г-гу-у!

Ихнула Агния благим матом, сидя, запрыгала на стуле, заморгала, запричитала:

– Штоп тебе... штоп тебе... штоп тебе...

Раз двадцать этак вот «штоп тебе» – и под самый конец тихонько: «провалиться, – штоп тебе провалиться, пр-ровалиться...» Была у Агнии такая чудная привычка: все пугал ее со скуки из-за углов генерал – вот и привыкла.

Любил генерал слушать Агниевы причитанья, – разгасился, никак не передохнет – хохочет:

– Охо-хо, вот кликуша-то, вот порченая, вот дурья-то голова, охо-хо!

А генеральша прихлебывала, не слышала, далеко где-то, не тут жила.

Прикатился Ларька – запыхался.

– Ваше преосходительство, там капитан Шмит вас желает видеть.

– Шмит? Вот принесло... И поесть толком не дадут, ч-черт! Проси сюда.

Свояченица Агния выскочила из-за стола в соседнюю комнату, и скоро в дверной щели уже заходил веснущатый ее нос, однажды мелькнувший Андрею Иванычу.

Вошел Шмит, тяжелый, высокий. Пол заскрипел под ним.

– А-а-а, Николай Пе-тро-вич, здравствуйте. Не хотите ли, миленочек, покушать? Вот, равиоли есть, пррев-вос-ходные! Сам, неженчик мой, стряпал: им, паршивцам, разве можно

доверить? Равиоли вещь тонкая, из таких все деликатностей: мозги из костей, пармезанец опять же, сельдерей молоденький – ни-и-как не старше июльского... Не откажи, голубеночек.

Шмит взял на тарелку четырехугольный пирожок, равнодушно глотнул и заговорил. Голос – ровный, граненый, резкий, и слышится – на губах – невидная усмешка.

– Ваше превосходительство, капитан Нечеса жалуется, что лошади не получают овса, на одной резке сидят. Это совершенно невыносимо. Сам Нечеса, конечно, боится притти вам сказать. Я не знаю, в чем тут дело. Может, это ваш любимчик, как его... Мундель-Мандель; ну как его...

У генерала – прелестнейшее настроение: зажмурил свои буркалы и мурлычит:

– Мендель-Мандель-Мундель-Мондель... Эх, Николай Петрович, голубеночек, не в том счастье. Ну, чего тебе еще надо? Видел я намедни Марусю твою. Ну, и кошечка же, ну и милочка – н-т-ц-а, вот что... И подцепил же ты! Ну, какого еще рожна тебе надо, а?

Шмит сидел молча. Железно-серые, небольшие, глубоко всаженные глаза еще глубже ушли. Узкие губы сжались еще уже.

Генеральша только сейчас услышала Шмита, поймала кусочек и спросила треснуто:

– Нечеса?

И забыла, замолкла. В дверной щели все ходил вверх и вниз веснушчатый острый нос.

Шмит настойчиво и уже со злостью повторил:

– Я еще раз считаю долгом доложить вашему превосходительству: лошадиные кормовые куда-то пропадают. Я не хочу пускаться в догадки – кто, Мундель или не Мундель...

Вдруг опять проснулась генеральша, услышала: Мундель, – и ляпнула:

– Кормовые-то? Это вовсе не Мундель, а он, – кивнула на генерала. – Ему на обеды не хватает, проедается очень, – и засмеялась генеральша почти весело.

Шмит, как сталью, уперся взглядом в генерала:

– Я давно это знаю, если уж по правде говорить. И главное: деньги пропадают, люди могут думать на меня, я – казначей. Этого я не могу допустить.

Узко сжаты Шмитовы губы, все лицо спокойно, как лед. Но как синий напряженный лед в половодье: секунда – и ухнет, с грохотом хлынет сокрушающая, неистовая, весенняя вода.

А генерал хлынул уже. Зяпнул нутряным своим басом:

– До-пус-тить? Ка-ак-с?

И остуился на злючий визг:

– Капитан Шмит, встать, руки по швам, с вами говорит генерал Азанчеев!

Шмит встал, спокойный, белый. Генерал тоже вскочил, громыхнул стулом и накинудся на Шмита, осыпал, оглоушил:

– М-мальчишка! Ты с-смеешь не до-пу-ска-ть, а? Мне, Азанчееву? Да ты з-знаешь, я т-тебя в двадцать четыре часа...

Искал, чем бы кольнуть Шмита побольнее:

– Да давно ли ты стоял тут и просил разрешения, р-разрешения у меня жениться. А теперь завел себе девчонку хорошенькую – и д-думаешь, и уж б-большой стал, и все тебе можно! М-мальчишка!

– Как... вы... сказали? – отрубил Шмит по одному пронзительные – трехлинейные пульки – слова.

– ...Девчонку, говорю, завел, так и думаешь! Погоди-ка, миленок, будет она по рукам ходить, как и прочие наши. А то ишь-ты, мы-ста, не мы-ста!

Твердый, выдвинутый вперед подбородок у Шмита мелко дрожал. Пол скрипнул, Шмит сделал шаг – отвесил генералу резкую, точную, чеканную, как и сам Шмит, оплеуху.

И тут все перемешалось. Как, вот, бывает, когда ребятенки катятся с горы на ледяшках, и в самом низку налетят друг на друга: брызнет от взрытого сугроба снег, салазки – вверх полозьями, и визг веселый, и жалобный плач ушибленного.

Метнулся Ларька, услужливо подставил стул, генерал плюхнулся, как мешок. Дверная щель разверзлась. Свояченица Агния вскочила в родимчике и полоумно причитала: «штоп, штоп, штоп провалиться...» Генеральша держала стакан в руке и треснуто, пусто смеялась – так пустушка смеется на колокольне по ночам.

Генерал, без голоса, нутром просипел:

– Под суд... У-пе-ку...

Шмит отчеканил по-солдатски:

– Как прикажете, ваше превосходительство.

И налево кругом.

Ларька любил сильные сцены: довольно крутил головой, пыхтел, как самовар, и обмахивал генерала салфеткой. Агния ихала, генеральша маленькими глоточками отпивала из стаканчика.

7. Человечьи кусочки

Молочко пристал к Андрею Ивановичу, как банный лист.

– Нет уж, атанде. Месяц уж, как приехал, и ни разу в собрание не заглянул, – можете себе представить? Это с вашей стороны свинство. К Шмитам, небось, каждый день шлындаете!

Андрей Иваныч зарозовел чуть приметно. «Правда, если и сегодня пойти к Шмитам, – это уж будет окончательно ясно, это значит – сознаться...» Что – ясно и в чем – сознаться, этого Андрей Иваныч еще и себе сказать не насмелился.

– Ладно, черт с вами, иду, – отмахнулся Андрей Иваныч.

В раздевальной висело десятка полтора шинелей. Краска еще сырая малость: ноги прилипали к полу, пахло скипидаром. Молочко без отдыха молот что-то над ухом, забивал мусором Андрею Иванычу голову:

– Ну, что, каково у нас? А каланча-то наверху! Новенькое, а? Нет, а вот, можете себе представить: слышал я, будто есть такая несгораемая краска, каково, а? А вы читали, как у французов театр с людьми погорел, а? Сто человек, каково? Я за литературой очень слежу...

Наверху в зале табашники так натабачили, что хоть топор вешай. И в гомоне, в рыжем тумане – не люди, а только кусочки человечьи: там – чья-то лысая, как арбуз, голова; тут в низку, отрезанные облаком, косолапые капитан-Нечесовы ноги поодаль – букет повисших в воздухе волосатых кулаков.

Человечьи кусочки плавали, двигались, существовали в рыжем тумане самодовлеюще – как рыбы в стеклянной клетке какого-то бредового аквариума.

– А-а, Половец, давно, брат, пора, давно!

– Где пропал, почему не являлся?

Кусочки человечьи обступили Андрея Иваныча, загалдели, стиснули. Молочко нырнул в туман – и пропал. Капитан Нечеса знакомил с какими-то новыми: Нестеров, Иваненко, еще кто-то. Но все казались Андрею Иванычу на один лад: как рыбы в аквариуме.

Два зеленых стола были раскрыты. Тусменным светом мазали по лицам свечи. Андрей Иваныч просунулся вперед – поглядеть: как играют тут, на куличках, так же ли яро, как в Тамбове далеко, или уж, может, соскучились, надоело?

Над столом висела лысая, как арбуз, тускло блестящая голова, и ровными рядами разложены были карты. Арбуз морщил лоб, что-то шептал, тыкал в карты пальцем.

– Что это? – обернулся Андрей Иваныч к капитану Нечесе.

Нечеса пошмурыгал носом и сказал:

– Наука имеет много гитик.

– Гитик?

– Ну да. Что вы с неба, что ли, свалились? Фокус такой...

– Но почему... но почему же никто не играет в карты? Я думал... – Андрей Иваныч уже робел, видел – кругом ухмыляются.

Капитан Нечеса добродушно-свирепо пролаял:

– Пробовали, брат, пробовали, игравали... Перестали. Будет.

– Да почему?

– Да уж очень у нас много, брат, гениев, да, по части карт. Играют уж очень хорошо. Да. Не антиресно...

Андрей Иваныч сконфузился, будто он в том виноват был, что играют уж очень хорошо, и отошел.

Часов в одиннадцать всей ордой двинулись ужинать. И следом из карточной переплыл в столовую табачный дым, и опять засновали в рыжих облаках самодовлеющие человечьи кусочки: головы, руки, носы...

В столовой увидели печально-длинный и свернутый совершенно противозаконно в сторону нос поручика Тихменя. Развеселились.

– А-а, Тихмень! Ну, как Петяшка?

– Зубки-то режутся? Хлопот-то, небось, тебе, а?

Капитан Нечеса блаженно улыбался и ничего теперь на свете не слышал: наливал себе зубровки. Тихмень серьезно и озабоченно ответил:

– Мальчишка плохенький, боюсь – трудно будет с зубами.

Залп хохота, развеселого, из самых что ни на есть утроб.

Тихмень сообразил, устало махнул рукой, сел за стол рядом с Андреем Ивановичем.

На конце стола, за хозяина, сидел Шмит. Он и сидя был выше всех.

Шмит позвонил. Подскочил бойкий, хитроглазый солдат с заплаткой на колене.

«Должно быть, ворует...» – почему-то подумал Андрей Иванович, глядя на заплатку.

Через минуту солдат с заплаткой принес на подносе огромный зеленого стекла японский стакан. Все заорали, захохотали:

– А-а, Половца крестить! Так его, Шмит!

– Морского зверя-китовраса!

– Это, брат, китоврас называется: ну-ка?

Андрей Иванович выпил жестокую смесь из полыни и хины, вытаращил глаза, задохся – не передохнуть – не мог. Кто-то подставил стул, и о вновь окрещенном забыли, или это он был без памяти...

Очнулся Андрей Иванович от скрипучего голоса, жалобно-надоедно одно и то же повторявшего:

– Это не шутка. Если б я знал... Это не шутка... Если б я знал наверно... Если б я...

Медленно, трудно понял Андрей Иванович: это Тихмень. Спросил:

– Что? Если б что знал?

– ...Знал бы наверно: мой Петяшка или не мой?

«Он пьян, да. А я не...»

Но на этом месте сбил Андрея Ивановича смех и рев. Хохотали, ложились на стол, поми- рали со смеху. Кто-то повторял последнюю – под занавес – фразу скоромного анекдота.

Теперь стал рассказывать Молочко... рассказывали, должно быть, уж давно. Молочко раскраснелся, смаковал, так и висели в воздухе увесистые российские слова.

Вдруг с конца стола Шмит крикнул резко и твердо:

– Заткнись, дурак, больше не смей! Не позволю.

Молочко дернулся было со стула, вскочил – и сел. Сказал неуверенно:

– Сам заткнись.

Замолчал. И все примолкли. Качались, мигали в тумане человечьи кусочки: красные лица, носы, остеклевшие глаза.

Кто-то запел, потихоньку, хрипло, завыл, как пес на тоскливое серебро месяца. Подхватили в одном конце стола и в другом, затаили тягуче, подняв головы кверху. И вот уже все заунывно, в один голос, воют по-волчьи:

У попа была собака,
Он ее любил.
Раз собака съела рака,
Поп ее убил.
Закопал свою собаку,
Камень привалил.
И на камне написал:
У попа была собака,

Он ее любил.
Раз собака съела рака...

Часы пробили десять. Заколдовал бессмысленный, как их жизнь, бесконечный круг слов, все выли и выли, поднявши головы. Пригорюнились, вспомнили о чем-то. О чем?

Б-бум: половина одиннадцатого. И вдруг почувял Андрей Иванович с ужасом, что и ему до смерти хочется запеть, завывать, как и все. Сейчас он, Андрей Иванович, запоеет, сейчас запоеет – и тогда...

«Что ж это, я с ума... мы с ума все сошли?»

...Поп ее убил,
Закопал свою собаку...
И на камне написал:
У попа была собака...

И запел бы, завыл Андрей Иванович, но сидевший справа Тихмень медленно сполз под стол, обхватил Андрея Ивановича за ноги и тихо, – может, один Андрей Иванович и слышал, – жалобно заскулил:

– Ах, Петяшка мой, ах, Петяшка...

Андрей Иванович вскочил, в страхе выдернул ноги. Побежал туда, где сидел Шмит. Шмит не пел. Глаза суровые, трезвые. «Вот он, один он может спасти...»

– Шмит, проводите меня, мне нехорошо, зачем поют?

Шмит усмехнулся, встал. Пол заскрипел под ним. Вышли.

Шмит сказал:

– Эх вы! – и крепко сжал Андрею Ивановичу руку.

«...Вот хорошо, крепко. Значит, он еще меня...»

Все крепче, все больнее. «Крикнуть? Нет...» Хрустнули кости, боль адская.

«И Шмит, и Шмит сумасшедший?»

– Вы все-таки ничего, терпеливы, – усмехнулся Шмит и пристально заглянул Андрею Ивановичу в глаза, обвел усмешкой огромный Андрей-Ивановичев лоб и робко угнездившийся под сенью лба курнофеечку-носик.

8. Соната

Весь день после вчерашнего было тошно и мутно. А когда пополз в окно вечер – мутное закутало, захлестнуло вконец. Не хватало силушки остаться с собой, так вот – лицом к лицу. Андрей Иванович махнул рукой и пошел к Шмитам.

«У Шмитов рояль, надо поиграть, правда. А то, этак и совсем разучиться недолго...» – хитрил Андрей Иванович с Андреем Ивановичем.

Маруся сказала невесело:

– Ах, вы знаете: Шмита ведь на гауптвахту посадили на три дня. За что? Он даже мне не сказал. Только удивлялся очень, что пустяки – на три дня. «А я, говорит, думал...» Вы не знаете, за что?

– Что-то с генералом у него вышло, а что – не знаю...

Андрей Иванович сразу сел за рояль. Весело перелистывал свои ноты: «А Шмита-то нет, а Шмита посадили».

Выбрал Григовскую сонату.

Уж давно Андрей Иванович в нее влюбился: так как-то, с первого же разу по душе ему пришлась.

Заиграл теперь – и в секунду среди мутного засиял зелено-солнечный остров, и на нем...

Нажал левую педаль, внутри все задрожало. «Ну, пожалуйста, тихо – совсем тихо, еще тише: утро – золотая паутинка... А теперь сильнее, ну – сразу солнце, сразу – все сердце настежь. Это же для тебя – смотри, на...»

Она сидела на самодельной, крытой китайским шелком тахте, подперла кулачком узкую свою и печальную о чем-то мордочку. Смотрела на далекое – такое далекое – солнце.

Андрей Иванович играл теперь маленький, скорбный четырехбемольный кусочек.

...Все тише, все медленней, медленней, сердце останавливается, нельзя дышать. Тихо, обрывисто – сухой шепот – протянутые, умоляющие о любви руки – мучительно пересохшие губы, кто-то на коленях... «Ты же слышишь, ты слышишь. Ну вот – ну, вот, я и стал на колени, скажи, может быть, нужно что-нибудь еще? Ведь все, что...»

И вдруг – громко и остро. Насмешливые, быстрые хроматические аккорды – все громче – Андрею Ивановичу кажется, что это у него бывает – у него может быть такой божественный гнев, он ударяет сотрясаясь три последних удара – и тихо.

Кончил – и ничего нет, ни гнева, ни солнца, он просто – Андрей Иванович, и когда он обернулся к Марусе – услышал:

– Да, это хорошо. Очень... – Она выпрямилась. – Вы знаете: Шмит жестокий и сильный. И вот: ведь даже жестокостям Шмитовым мне хорошо подчиняться. Понимаете: во всем, до конца...

Паутинка – и смерть. Соната – и Шмит. Ни к чему, как будто, а заглянуть...

Андрей Иванович встал из-за рояля, заходил по ковру. Маруся сказала:

– Что же вы? Кончайте, ну-у... Там же еще менюэт.

– Нет, больше не буду, устал, – и все ходил Андрей Иванович, все ходил по ковру.

– ...Я иду по ко-вру, ты и-дешь, по-ка врешь, – вдруг забаловалась Маруся и опять стала веселая, пушистая зверушка.

Он засмеялся:

– Баловница же вы, погляжу я.

– О-о-о... А какая я была девчонкой – ух ты, держись! Все на ниточку привязывали к буфету, чтобы не баловала.

– А теперь разве не на ниточке? – подковырнул Андрей Иванович.

– Хм... может, и теперь на ниточке, правда. А только я тогда, бывало, делала, чтоб упасть и оборвать – нечаянно... Хи-итрущая была! А то, вот, помню сад у нас был, а в саду сливы, а в городе – холера. Немытые сливы мне есть строго-настрого заказали. А мыть скучно и долго. Вот я и придумала: возьму сливу в рот, вылижу ее, вылижу дочиста и ем, – что ж, ведь она чистая стала...

Смеялись оба во всю глубину, по-детски.

«Ну еще, ну еще посмейся!» – просил Андрей Иванович внутри.

Отсмеялась Маруся – и опять на губах печаль:

– Ведь я тут не очень часто смеюсь. Тут скучно. А может, даже и страшно.

Андрею Ивановичу вспомнилось вчерашнее, воюющие на луну морды, и он сам... вот сейчас запоеет...

– Да, может, и страшно, – сказал он.

– А правда, – спросила Маруся, – к нам чугунок будто проведут, – сядем и поедем?

Неслышно вошел и столбом врос в притолку денщик Непротошнов. Его не видели. Кашлянул:

– Ваше-скорodie. Барыня...

Андрей Иванович с злой завистью взглянул в его рыбы глаза: «Он здесь каждый день, всегда около...»

– Ну, что там?

– Там поручик Молочко пришли.

– Скажи, чтоб сюда шел, – и недовольно-смешно сморщив лоб, Маруся обернулась к Андрею Ивановичу.

«Значит, она хотела, она хотела, чтоб мы вдвоем», – и радостно встретил Молочку Андрей Иванович.

Вошел и запрыгал Молочко, и заболтал: посыпалось как из прорванного мешка горох, – фу ты, Господи! Слушают – не слушают, все равно: лишь бы говорить и своим словам самому легонько подхохатывать.

– ...А Тихмень вчера под стол залез, можете себе представить? И все про Петяшку своего...

– ...А у капитана Нечесы несчастье: солдат Аржаной пропал, вот подлец, каждую зиму сбегает...

– ...А в Париже, можете себе представить, обед был, сто депутатов, и вот после обеда стали считать, а пять тарелок серебряных и пропало. Неужли депутаты? Я всю дорогу думал, я знаю – ночью теперь не засну...

– Да, вы, заметно, следите за литературой, – улыбнулся Андрей Иванович.

– Да, ведь я говорил вам? Как же, как же! За литературой я очень слежу...

Андрей Иванович и Маруся переглянулись украдкой и еле спрятали смех. И так это было хорошо, уж так хорошо, – они вдвоем, как заговорщики...

Андрей Иванович любил сейчас Молочку. «Ну еще, милый, рассказывай еще...»

И Молочко рассказывал, как один раз на пожаре был. Пожарный прыгнул вниз с третьего этажа и остался целехонек, – «можете себе представить?» И как фейерверкер заставил молодого солдата заткнуть ружье полый полушубка и пальцем: так, мол, пулю удержит.

– И оторвало ведь палец, можете себе представить?

Уже все высмеяла Маруся – весь свой смех истратила – и сидела уже не улыбой. Андрей Иванович встал, чтоб идти домой.

Прощались. «Поцеловать руку или так?» Но первым подскочил Молочко, нагнулся, долго чмокал Марусину руку. Андрей Иванович только пожал.

9. Два Тихменя

Поручик Тихмень недаром лез под стол: дела его были вконец никудышные.

Была у Тихменя болезнь такая: думать. А по здешним местам – очень это нехорошая болезнь. Уж блаже водку глушить перед зеркалом, блаже в карты денно и ночью резаться, только не это.

Так толковали Тихменю добрые люди. А он все свое. Ну и дочитался, конечно додумался: «Все, мол, на свете один только очес призор, впечатление мое, моей воли тварь». Вот-те и раз: капитан-то Нечеса – впечатление? Может, и все девять Нечесят с капитаншей в придачу – впечатление? Может, и генерал сам – тоже?

Но Тихмень таков: что раз ему втемяшилось – в том заматореет. И продолжал он пребывать в презрении к миру, к женскому полу, к детоводству: иначе Тихмень о любви не говорил. Дети эти самые – всегда ему, как репей под хвост.

– Да помилуйте, что вы мне будете толковать? А по-моему, все родители – это олухи, караси, пойманные на удочку, да. Дети так называемые... Да для ходу, для ходу-то – это же человеку тачка к ноге, карачун... Отцвет, продажа на слом – для родителей-то... А впрочем, господа, вы смеетесь, ну и черт с вами!

А как же не смеяться, ежели нос у Тихменя такой длинный и свернут направо, и ежели машет он руками, как вот мельница-ветрянка. Как же не смеяться, ежели скептиком великим Тихмень бывает исключительно в трезвом своем образе, а чуть только выпьет... А ведь тут на отлете, в мышеловке, на куличках, прости Господи, у черта, – тут как же не выпить?

И, выпивши, всякий раз обертывается презрительный Тихмень идеалистом: как в древнем раю, тигр с ягненком очень мило уживаются в душе у русского человека.

Выпивши, Тихмень неизменно мечтает: замок, прекрасная дама в голубом и серебряном платье, а перед нею – рыцарь Тихмень, с опущенным забралом. Рыцарь и забрало – все это удобно потому, что забралом Тихмень может закрыть свой нос и оставить открытыми только губы, – словом, стать прекрасным. И вот, при свете факелов свершается таинство любви, течет жизнь так томно, так быстро, и являются златокудрые дети...

Впрочем, протрезвившись, Тихмень костил себя олухом и карасем с неменьшим рвением, чем своих ближних, и исполнялся еще большею ненавистью к той субстанции, что играет такие шутки с людьми, и что люди легкомысленно величают индейкой.

Год тому назад... да, это так: уже почти год прошел с того дня, как ироническая индейка так подло посмеялась над Тихменем.

Были святки – несуразные, разгильдяйские, вдрызг пьяные тутошные святки. Поручик Тихмень в первый же день навизитился, накулюкался и к ночи вернулся домой рыцарем, опустившим забрало.

Капитана Нечесы не было дома, ребят уж давно уложил спать капитанский денщик Ломайлов. Одна перед празднично вкусным столом скучала капитанша Нечеса: ведь первый день всегда празднично-скучен.

Непривычно-галантно поцеловал руку у прекрасной дамы рыцарь Тихмень. И принимая из ее ручек порцию гуся, сказал:

– Как я рад, что ночь.

– Почему же это вы рады, что ночь?

Тверезый Тихмень ответил бы в виде любезности самое большее: «Потому что ночью все кошки серы». А рыцарь Тихмень сказал:

– Потому что ночью является нам то прекрасное, что скрыто от нас дневным светом.

Это было по вкусу капитанше: она заиграла всеми своими бесчисленными ямочками, тряхнула кругленькими кудряшками на лбу и пустила против Тихменя свои атуры.

Откушали и пошли в капитаншин будуар, он же – спальня.

И опять: тверезый Тихмень – как огня бежал всегда этого приюта любви, двух слоноподобных кроватей, двух рядом почивающих на вешалке китайских халатов, в которых капитан и капитанша шеголяли ранним утром и поздним вечером. А рыцарь Тихмень охотно и радостно пошел в этот замок за прекрасной дамой.

Здесь рыцарь и его дама сели играть «в извозчики»: на листе бумаги огрызком карандаша поставили кружки-города и долго возили друг дружку, и старались запутать.

Впоследствии рыцарь уже водил по бумаге рукой своей дамы, дабы облегчить ее труд. И так незаметно доехали они до Катюшкиной кровати...

Не будь этого проклятого дня, что были бы Тихменю все дурацкие шутки по части Петяшки? Нуль, сущее наплевать. А теперь... да, черт его ведает, может, и правда Петяшка-то...

– Ах, ты, олух, идиотина, карась!

Так хватался за голову Тихмень и чистил себя... трезвый.

А пьяный горевал о том, что не знает наверняка, чей Петяшка. Прямо вот – сердце разрывалось у пьяного, и неизвестно ведь, как и узнать. Правда ведь, а?

Но сегодня Тихмень вернулся веселыми ногами после обеда званого у генерала и знал, что сделать, знал, как узнать про Петяшку.

– А, что, съела? А я, вот, узнаю... – поддразнивал Тихмень неведомую субстанцию.

Было еще рано, у генерала еще пир шел горой, еще Нечеса там остался, а Тихмень нарочно, специально, чтоб узнать, тихохонько пробрался домой – и прямо в будуар.

Капитанша лежала еще в кровати: от частых родов что-то у ней там затрюкалось, и вот уже месяц – все поправиться как следует с силами не соберется.

– Здравствуй, Катюша, – поцеловал Тихмень кругленькую ручку.

– Что-то ты, милый, вежлив, как... тогда был. Не забудь, что тут дети.

Да, здесь все, как и тогда: и кровати-слоны, и на вешалке халаты. Только, вот, дети: восемь душ, восемь чумичек, мал мала меньше, и за ними сзади, как Топтыгин на задних лапах – денщик Яшка Ломайлов.

– А ты отошли детей, мне надо поговорить, – серьезно сказал Тихмень.

Капитанша мигнула Яшке, Яшка и восемь ребят испарились.

– Ну что, ну какого еще рожна тебе говорить? – спросила капитанша сердито. А внутри так и запольхало любопытство: «Что такое? О чем может этот статуй?»

Тихмень долго скрипел, колумесил околицей: все никак духу не хватало настоящее сказать.

– Видишь ли, Катюша... Это сразу, оно может и так показаться, тово... Ну, одним словом, чего там, желаю я твердо знать: мой Петяшка наверняка – или не мой.

Уж и так круглые, а тут и еще покруглили капитаншины глазки и молча уставились в Тихменя. Потом прыснула она, затрясла кудерьками:

– Вот дурашный, ну и дурашный, рассмешил, ой, ей-богу! Ну, а если я не знаю – тогда что?

– Взаправду – не знаешь?

– Вот чудород! Да что мне, – трудно бы тебе сказать, что ли, было? Не знаю – и весь сказ. Вот еще допросчик нашелся.

«...И она не знает, пропало теперь дело...» Пошел Тихмень в свою комнату, нос повесил.

В коридорчике налетел на капитана Нечесу: тот тоже себе шел, ничего не видя.

– А, ч-черт тебя возьми! Ты что это, нос-то на квинту, а? – ругнулся капитан.

Тихмень взглянул на Нечесу: эге!

– А ты что на квинту?

– Э-э, брат. У меня горе: Аржаной сбежал, ну и это еще наплевать бы, а то нашелся теперь, и оказывается – манзу прихлопнул.

– А у меня... – и, не сказав, махнул Тихмень безнадежно.

10. Солдатушки, бравы ребятушки

Который настоящий да хороший мужик – тот, если за сохой походил да землю нюхнул, так уж вовек этого духу земляного не забудет. Должно быть, что и с Аржаным вот так. Пошлют Аржаного, скажем, за водой на ротной Каурке, – он таким гоголем по улице прокатит, что мое почтение. Или лопату сунут Аржаному в лапы: опять комья так и летят, яма – сама собой строится. И так вот со всяким хозяйственным делом. А поставили его в строй, – он и рот разинул. Сущее с ним горе капитану Нечесе: мужичина Аржаной здоровенный-правофланговый, а стоит, рот разиня, вот ты и делай с ним, что хочешь...

– Аржано-ой! Ты что чучелом таким стоишь, оглобля? О чем задумался? Что у тебя в башке?

А черт его знает, что: словами-то и не сказать, пожалуй. Должно быть, росное, весеннее утро, пашни паром курятся, лемех от земли жирный, сытый землю, а в небе – жаворонка. И будто, вот, в пустельге в этой, в жаворонке, вся механика-то и есть. И все дерет Аржаной голову кверху, все рот разевает: а нету ли, мол, жаворонки той самой наверху?

– Аржаной, балаболка, штык ровняй, по средней линии, аль не видишь?

Глядит Аржаной на штык – ишь ты, солнце-то на нем как играет – глядит и думает:

«Вот ежели бы да, например, из эстого штыка – да лемех сковать. Ох, и лемех бы вышел – новину вздрать, вот бы!»

И все это еще туда бы – сюда, все это дело домашнее. А уж вот как теперь угрешился Аржаной – манзу прихлопнул, – этого уж не покроешь, придется уж с этим к генералу идти, ах ты Господи...

Качает капитан Нечеса лохматой своей головой, качается маленький его сизый нос, заблудившийся в бороде, в усах.

– Да как же это ты, Аржаной, а? Кто же это тебя надоумил? Зачем?

Аржаной оброс за время бегов щетиной, стал еще скуластей, еще больше обветрел, земле предался.

– Такое вышло дело, ваше-скородие. Рассказали мне солдатенки проклятые, что, мол, теперича идут по большой дороге манзы эти самые и, знычь, несут панты оленьи, а пантам этим самым цена, будто, полтыщи... Ну я, знычь, убег и подстерег манзу-то...

Затопал капитан свирепо на Аржаного, залаял, начал его обкладывать – вдоль и поперек. А Аржаной стоит и ухмыляется: знает, капитан Нечеса солдата не обидит, а брань-то на воротах не виснет.

И только тогда оробел Аржаной, когда услышал, что к генералу придется идти: тут побелесел даже со страху.

Увидел это капитан Нечеса, заткнул свой ругательный фонтан, налил полстакана водки и сердито сунул Аржаному.

– На, такой-сякой, пей! Да не робь: авось, вызволим как-нибудь.

Увели Аржаного в кутузку, ходит капитан по комнате неспокоен.

«Вот начупит этакий прохвост – а ты расхлебывай, ты выкручивайся. Да еще под какую руку к генералу попадем, а то и под суд угонит...»

Ходит капитан – места не найдет. Запел свою любимую песню, она же и единственная, исполняемая капитаном:

Солдату-ушки, бравы ребяту-ушки,
Да где ж ва-аши же-ена?

У Катюшки кто-то из воздыхателей сидит: ишь ты, хохочет она кругленько как, да звонко. К Тихменю теперь хоть и не подступайся, ходит тучи чернее, – раньше хотя с ним можно было в поддавки сыграть и за игрой о горях, о печалях позабыть... Эх!

Махнувши рукой, вынимает капитан очки в черной роговой оправе. Читает капитан простым глазом, и очки надеваются в двух лишь случаях: первый – когда капитан Нечеса ремонтирует некую часть своего туалета, а второй...

Капитан Нечеса берет оружие – грошовую иголку, специально вставленную денщиком Ломайловым в хорошую ореховую ручку. Капитан Нечеса затягивает любимую свою – и единственную – песню и бродит в столовой возле стен. Некогда стены, несомненно, были оклеены превосходными голубыми обоями. Но теперь от обоев осталось лишь неприятное воспоминание, и по воспоминанию ползают рыжие, усатые прусаки.

...Наши же-ена – ружья заряже-ена.
Вот где на-ши же-ена!
Солдату-ушки, бравы ребяту...

– Ага, дьявол, попался! Та-ак!

На грошовой иголке трепыхается рыжий прусак. Должно быть, от очков – лицо у капитана свиное, свирепое, а уж лохматое – не приведи Господи... Капитан кровожадно-удовлетворенно глядит на прусака, сбрасывает добычу на пол, с наслаждением растирает ногой...

Наши се-естры – сабли-ружья во-остры,
Вот где на-аши се...

– А-а, такой-сякой, в буфет лез? Будешь теперь лазить? Будешь?

И поглядеть вот сейчас на капитана Нечесу – так, ей-богу, аж страшно: зверь-ты-зверина, ты скажи свое имя. А кто с капитаном пуд соли съел, так тот очень хорошо знает, что только с тараканами капитан свиреп, а дальше тараканов нейдет.

Да вот хоть капитаншу взять: рожает себе капитанша каждый год ребят, и один на адъютанта похож, другой – на Молочку, третий – на Иваненко... А капитан Нечеса – хоть бы что. Не то невдомек ему, не то думает: «А пущай, все они – младенчики, – все ангелы Божьи»; не то просто иначе и нельзя по тутошним местам, у черта-то на куличках, где всякая баба, хоть самая никчemuшняя, высокую цену себе знает. Но любит капитан Нечеса всех восьмерых своих ребят, с девятым Петяшкой в придачу, – любит всех одинаково и со всеми нянчится...

Вот и сейчас, вытерши испачканные в тараканах руки о штаны, идет он в детскую, чтобы тревогу свою об Аржаном утишить. Восемь оборванных, веселых чумазных отерханов... И долго, покуда уж совсем не стемнеет, играет в кулочки с чумазыми капитан Нечеса.

Денщик Яшка Ломайлов, Топтыгин, сидит со свечкой в передней на конике и пристраивает заплату к коленке Костенькиных панталон: совсем обносился мальчонка. А из капитаншина будуара, он же и спальня с слонами-кроватями, – слышен веселый Катюшкин смех. Ох, грехи! Не было бы к лету десятого!

11. Великая

Письменным приказом Шмит был наряжен на поездку в город. Шмит удивлен был немало. Оно, положим, что дело идет о приемке новых станков прицельных. А все же на такие дела, бывало, мелкота наряжалась, подпоручики. А тут вдруг его – капитана Шмита. Ну, ладно...

Уехал. Андрей Иванович и Маруся были на пристани. Проводили Шмита, вдвоем шли домой. Под ногами на лыжах холодным хрустом хрупал ледок. Земля – мерзлая, тусклая, голая – лежала необрунным покойником.

– А у нас там теперь – мягко, тепло, снег, – сказала Маруся. Еще глубже ушла подбородком в мягкий мех, еще больше стала пугливой, пушистой, милой зверушкой.

Вправо чернеют вихрястые от леса увалы, под ними туманная долина. И в тумане шевелятся, стали у самой дороги, как нищие, семь хромых деревянных крестов.

– «Семь крестов» – вы знаете? – кивнула туда Маруся.

Андрей Иванович помотал головою: нет. Языком шевельнуть боялся, а то снимется и улетит вот это, что бьется в нем и что страшно назвать.

– Семь офицеров молоденьких. И не очень, чтоб давно, лет, что ли, восемь или девять... Все – в один год, как от заразы. На кладбище-то их ведь нельзя было...

«...Семь. Что ж они – отдельно, или сразу все? Да, собрание, у попа была собака... Фу, какая чепуха! Зараза. Может быть – любовь?»

Вот по такой дорожке промчался Андрей Иванович и вслух сказал:

– Что же, ведь любовь – она и есть болезнь. Душевнобольные... Я не знаю, отчего никто не попробовал лечить это гипнозом? Наверное, можно бы.

Андрей Иванович искал ее глаз, чтобы увидеть, слышит ли она, что он говорит, хочет сказать. Но глаза были спрятаны.

– Да, может быть, – ответила Маруся себе. – Болезнь... Как лунатики, как каталептики. Всякую боль, муку терпеть... Распяться для... для... О, все хорошо, все сладко!

Теперь Андрей Иванович видел глаза. Они очень блестели, лучились. Но для кого, о ком?

«...Скажу, сегодня скажу ей все». Андрей Иванович задрожал дрожью тоненькой, очень острой, и услышал ее как струну, где-нибудь в самом конце клавиатуры направо, – все звенела и звенела.

Прежде чем войти в поселок, они остановились и последний раз оглянулись на небо. В разодранных облаках полымем полыхала заря: всплеснулось что-то тревожно-красное снизу и застыло, нависло, нагнулось, растет...

Милая бревенчатая столовая Шмитов. Знакомый запах – не то зябрея, не то зверобоя. Но раньше все здесь было простое, полевое, спокойное. А теперь двигалось, каждую секунду менялось, ждало. И никогда прежде не видел Андрей Иванович этого красного, дрожащего, дразнящего языка лампы.

Маруся была слишком весела. Рассказывала:

– Шмит еще кадетиком был, в белом парусиновом... Он и тогда был жестокий, упрямый. Мне так хотелось, чтобы поцеловал, а он... А я на качелях качалась, было жарко. Ну, думаю, погоди же! Взяла да с качелей об землю – бряк...

Звенело остро струна в правой половине клавиатуры. «Зачем это она говорит?»

В дверь постучали. Вкатился самоварно-сияющий генеральский Ларька, где-то за ним статуем стоял в полутьме Непротошнов.

Маруся весело кивнула Ларьке, разорвала поданный им конверт, положила на стол: надо сперва досказать.

– ...об землю брякнулась – и кричу: ой, ушиблась! Тут уж, конечно, Шмитово сердце не вытерпело: где, говорит, где? Показала плечо: тут, вот. Ну, конечно, он... А я и на губы: и тут, говорю, тоже ушибла. Ну, он и губы... Вот, ведь мы хитрущие какие, женщины, – если захотим! Засмеялась, зарозовелась, была той самой девочкой на качелях.

Вынула письмо, читала. Медленно опускались качели вниз, все вниз. Но еще держалась улыбка на лице, как озябшая осенняя пичужка на безлистном дереве: уже мороз, уж улетать пора, а она все сидит и пиликает – как будто и то же самое, что летом, но выходит совсем другое.

– Вот... я и не понимаю, не могу... Вот... вы... – и задохнулась. Протянула Маруся письмо Андрею Иванычу.

«Милостивая Государыня, голубонька Марья Владимировна. Пятнадцатого ноября сего года ваш милейший муженек нанес мне оскорбление действием (свидетели: денщик мой Ларька, генеральша моя и свояченица Агния; последняя видела все сквозь дверную щель). Такие вещи ценятся, конечно, не тремя днями гауптвахты, которые отсидел капитан Шмит, а малость посерьезней: каторгой – от 12 лет. Дальнейшее направление этого дела, сиречь предание его усмотрению военного суда или вечному забвению, зависит всецело от вас, милая барыня Марья Владимировна. Если вы за муженька хотите расплатиться, так пожалуйста ко мне завтра в двенадцать часов дня, перед завтраком. А коли не захотите, – так в том, голубонька, воля ваша. А то бы пришли, я бы, старик, ах как бы рад был. Почитатель ваш Азанчеев».

Цеплялась Маруся за глаза Андрей-Иванычевы, озябшей, неверящей улыбкой молила его сказать, что неправда это, что ничего со Шмитом...

– Ведь, неправда же, ведь – неправда? – вот сейчас, кажется, станет она на колени.

– Правда, – только и мог сказать Андрей Иваныч.

– Господи, нет! – всхлипнула Маруся, все еще непокорно-детская. Положила в рот палец, из всей мочи закусила...

Андрей Иваныч молчал.

«Каторга» – медленно постигала Маруся чуждое, закованное, громыхающее слово... медленно...

Отвернулась. Какие-то странные обрывки не то смеха, не то предсмертной икоты.

– ...На минутку... в зал... ради Бога... выйдите, мне одной бы...

Одна. Встала, подошла к стене, прислонилась лицом, чтобы никто не видел... Сдвинулось в голове все, понеслось под гору без удержу. Привиделось – и откуда? – лампада под праздник, мать перед иконой ничком, такая чудная, сложенная пополам, а кто-то из них, из детей большой лежит.

«Ну, а если не пойти? Но ведь Шмита не пожалеет он, никогда. Каторга...»

«...Богородица, милая, ты ведь всегда меня любила, всегда... Не отступись, родная, никого у меня нету – никого, никого!»

Когда Андрей Иваныч снова вошел в веселую бревенчатую столовую, Маруси не было. Умерла Маруся – веселая девочка на качелях. Увидел Андрей Иваныч строгую, скорбную женщину, рожающую и хоронившую: вот эти, вот, глубокие морщины по углам губ – разве не следы они похорон? И пусть запашет жизнь еще глубже борозды – все стерпит, все поднимет русская женщина.

Сказала Маруся спокойно, только уж очень тихо:

– Андрей Иваныч, пожалуйста... Пойдите и скажите денщику, что хорошо, что я...

– Вы? Вы пойдете?

– Да нужно, ведь иначе...

Все в Андрее Иваныче задрожало, помутилось. Он стал на колени, губы тряслись, искал слов...

– Вы... вы... вы великая... Как я любил вас...

«Люблю» – не посмел сказать. Маруся спокойно смотрела сверху. Только руки, пальцы заплетены очень туго.

– Мне лучше одной. Вы только послезавтра придите, когда Шмит придет. Я не могу одна его встретить...

Ни месяца, ни звезд, небо тяжелое. Посередь улицы, спотыкаясь о замерзшую колочь, бежал Андрей Иваныч.

«Нет, нельзя допустить... Немыслимо, возмутительно. Что-нибудь надо, что-нибудь надо... У попа была собака... О Господи, да при чем это?»

Как в бреду, добежал до генеральского дома: слепые, темные окна; все спят.

«Звонить? Все раздеты. Ведь уж первый час. Немыслимо, смешно...»

Обежал еще раз кругом: нет ни единого огонька. Если б хоть один, хоть один, – тогда бы...

...До завтра?

Андрей Иваныч пощупал задний карман: «И револьвера нет, что ж я руками-то? Смешно, только выйдет смешно... Э-э...»

Так же без памяти, сломя голову, добежал до дома. Позвонил, ждал. И тут вдруг ясно представил: Маруся – и генеральское пузо, может, даже белое, с зелеными пятнами, как у лягвы. Скрипнул зубами:

– Ах я проклятый!

Но денщик Гуслийкин, ухмыляясь любезно, закрывал уже дверь на ключ.

12. Милостивец

Нынче генерал раным-рано поднялся: к девяти часам взбодрился уж, кофею налакался и в кабинете сидел. Чинил генерал по пятницам суд и расправу.

– Ну, Ларька, кто там? Да живей поворачивайся, волчком, чтоб у меня вертелся – ну?

Генерал бухнулся в кресло: кресло аж заохало, еле на ногах устояло. Зажмурил умильно глаза, поиграл пальцами по брюшку:

«Придет, голубонька, али нет? Эх и пичужечка же, да тонюсенькая, да веселенькая... Эх!»

Разбудил генерала густой барбосий лай капитана Нечесы:

– Вот, ваше превосходительство, Аржаной, который манзу-то убил. Тут он, привел я, позвольте доложить.

«Ох, придет же, голубонька, уважит старика, придет», – расплывался генерал, как блин в масле.

«И чего это он ухмыляется, чем доволен?» – вытаращился Нечеса.

– Прикажете привести, ваше превосходительство? Они тут.

– Да веди, миленок, веди, поскорей только...

Вошли в кабинет и у двух притолок встали: Аржаной – степенный, как и всегда, хоть был он после бегов щетинист и лохмат, и свидетель, Опенкин – рябой, с бородой-мочалой, этакий, видать, кум деревенский, разговорщик, горлан.

Должно быть, если б сейчас лошадей из конюшни приволокли в кабинет, так же бы они пятились, дыбились и храпели в страхе. И так же бы, как из Аржаного с Опенкиным, клещами бы из них слова не мог вытянуть капитан Нечеса.

– Да ты не бойся, чего ты, – улещал капитан Опенкина, – твое дело сторона ведь: тебе ничего ведь не будет.

«Сторона-то сторона. А как разгасится генерал...» – молча дыбился Опенкин. Однако огляделся помалу, рот раскрыл. А уж раскрыл – и не остановить его: балакает – и сам себя слушает.

– Что ж китаец, обнаковенно, манза – манза он и есть. Стретил я его, можно-скасть, на околице, идеть себе и мешшина у его зда-ровенный на спине. Ну, он мне, конечно, здраст-здраст. И-и залопотал по ихнему, и-и пошел... Ну чего, грю, тебе чудачо-ок? Ни шиша, грю, не понимаю. Чего б, мол, тебе по нашему-то, как я, говорить? И просто, мол, и всякому понятно. А то, вот, нет – накою, по-дуравьи язык ломает...

– Э-э, брат, завел! Ты лучше про Аржаного расскажи, как ты его встретил-то?

– Аржаной-то? Да как же, о Господи! Кэ-эк, это, он зачал мне про братнину жену, про ребяенок рассказывать... Мал-мала, грит, меньше, есть хочут и рты, грит, разевают. Рты, мол, разинули... И так Аржаной расквелил меня этим самым словом, так расквелил... Иду по пли-туару – навозрыд, можно-скасть, и тут же перебуваюсь...

Тут даже и генерал проснулся, перестал ухмыляться чему-то своему, вылупил буркалы лягушьи:

– Перебуваюсь? Это, то есть, почему же: перебуваюсь?

И как это господа не понимают, что к чему? Вот сбил теперь Опенкина, и конец. Нешто так можно перебивать человека? Вот теперь все и забыл Опенкин, и боле ничего.

Степенно, басисто рассказывал Аржаной. Главное дело – отпустили бы его только панты эти самые откопать. А то проведуют солдатишки проклятые... А стоят-то панты эти полтыщи, о Господи...

– Ваше превосходительство, уж дозвоьте пойтить взять. Ведь наше такое, знычть, дело крестьянское, деньги-то вот как надобны, податя опять же...

Генерал опять улыбался, подпрыгивал легонечко в кресле этак вот: вверх и вниз, вверх и вниз. Щекотал себя по брюшку:

«Ах, голубонька, плачет, поди, разливается... Ах, дитенок милый, чем бы тебя разутешить? А может, пожалеть, а?»

Генерал покачал головой на Аржаного:

– Эх ты, голова-два уха! Тебе только панты. А человека тебе нипочем укукошить? Жалеть надо человека-то, миленок, жалеть, вот что.

– Ваше превосходно... Да ведь они манзы. Нешь они человеки? Так, знычть, вроде куроптей больших. За их и Бог-то не взыщет. Ваше превосходно... дозвольте панты-то, ведь ребятенки, есть-пить... рты разинули...

Генерал загоготал, заходило, заплескалось его брюхо:

– Как, как? Вроде, говоришь, куроптей? Хо-хо-хо! Ну, ладно, вот что. Вы этого сукина сына... хо-хо, куроптей, говорит? – вы его домашним порядком – плеточкой, понимаэ? И потом – отпустите его панты эти взять, черт с ним, и – под арест на десять суток, вот-с...

Аржаной бухнулся в ноги: «Стало быть, панты-то мои?»

– Ваше превосходно... благодетель, милостивец!

Капитан Нечеса, уходя, думал:

«Ах, не спроста это, дюже чтой-то добер нынче!»

Генерал вышел в гостиную, жмурился, улыбался. У окна сидела генеральша, грела в руке стаканчик с чем-то красным.

– Чей-то, матушка, голосок я слышал? Молочко, что ли? Все еще хороводишься?

– Молочко отлынивать что-то стал, – рассеянно глядела генеральша мимо, – бородавки у себя развел, так нехорошо. Ты бы его приструнил...

Подскочила Агния. Вихлялась, подпрыгивала около генерала:

– А Молочко про Тихменя рассказывал: совсем малый спятил, все добивается, его или нет Петяшка, капитаншин девятый...

Хихикала Агния в сухой кулачок. Генерал весело ткнул ее в бок:

– А ты, Агния, когда же родишь, а? За Ларьку бы, что ли, выходила, – что ж даром-то так пропадать?

А Ларька – как раз, вот, и пришел, и стоял в дверях. Увидала его Агния – запрыгала, запричитала: «штоп-штоп-штоп-тебе пр-провалиться...»

Ларька подкатился любовно к генералу:

– Ваше превосходительство, вас дожидают там... К вам, говорят, лично.

Так и затрепыхался генерал. «Неужто ж и впрямь пришла?»

Побежал, засеменял. Брюхо побежало впереди – выходило, будто катил его генерал перед собой на тачке. Высоко подтянутые брючки трепались над сапогами.

Что-то такое учуяла нюхом своим Агния и, сказав: «Я сейчас», – упорхнула от генеральши в свою комнатку.

Комнатушка – клетушка маленькая, но за то веселые, с малиновыми букетами, обои, и пахнет каким-то розовым шипучим мылом. А все стены уклеены вырезанными из «Нивы», из «Родины» портретами: все мужские портреты аккуратно Агния вырезывала и тащила к себе – и генералов, и архиереев, и знаменитых ученых.

Но не в букетах, и не в портретах даже суть. А в том, что под большим портретом императора Александра III укрыла Агния долгим трудом и искусством проделанную щель в генералов кабинет. И теперь прильнула ухом к щели и, как манну небесную, ловила все, что в кабинете творилось.

13. Кладь тяжелая

Шмит веселый-развеселый вернулся из города: уж давно его Андрей Иванович таким не видал. Шли втроем с пристани; Шмит звал обедать. Стал было некататься Андрей Иванович, да Шмит и слышать не хотел.

– Эх, по заливу шуга идет, – говорил Шмит. – Льдинки скрипят около баркаса, машина изво всех сил стучит... Эх, хорошо, борьба!

Шел он высокий, тяжелый для земли, пил залпом морозный воздух.

– Борьба, – вслух подумал Андрей Иванович, – борьба утомляет. К чему?

– Отдых утомляет еще больше, – усмехнулся Шмит.

«Да, он устанет нескоро, – глядел Андрей Иванович на Шмита, – он бы не задумался, что спят, что нет револьвера... И ничего бы этого не было. А может, и так не было?»

В первый раз за сегодня насмелился Андрей Иванович – и взглянул на Марусю. Ничего... Но только эта неподвижность лица и заплетенные крепко пальцы...

«Она была там, это... было», – захолоноул весь Андрей Иванович.

– Ну, что ж ты, Маруська, делала, что во сне видела? – Шмит нагнулся к Марусе. Жесткий его, кованный подбородок исчез, весь Шмит стал мягкий.

Бывает вот, над кладью грузчики иной раз тужатся-тужатся, а все ни с места. Уж и «Дубинушку» спели, и куплет ахтителный какой-нибудь загнули про подрядчика; ну, еще раз! – напряжились: и ни с места, как заколдовано.

Так вот и Маруся сейчас тужилась улыбнуться: всю свою силу в одно место собрала – к губам – и не может, вот – не может, ни с места, и все лицо дрожит.

Видел это – смотрел, не дыша, Андрей Иванович: «Господи, если только оглянется сейчас на нее Шмит, если только оглянется...»

Секунда, одна только секундочка бесконечная – и совладала Маруся, улыбнулась. И только голос дрожал у нее чуть приметно:

– Господи, до чего ж иной раз вещи никчомушные снятся, смешно! Мне вот, всю ночь снилось, что надо разделить семьдесят восемь на четыре части. И вот уж будто разделила, поймала, а как написать, так и опять число забыла, и нету. И опять семьдесят восемь на четыре части – не умею, теряю, а знаю – надо. Так страшно это, так мучительно...

«Мучительно» – это была форточка туда, в правду. И даже радостно было Марусе сказать это слово, напоить его всей своей болью. И опять все это поймал Андрей Иванович – снова захолоноул, заледенел.

Шмит шел впереди их двоих уверенным своим, крепким, тяжелым шагом:

– Э-э, да ты, Маруська, кажись, это серьезно! Надо уметь плевать на такие пустяки. Да, впрочем, не только на пустяки: и на все...

И сразу Шмит, вдруг вот, стал немил Андрею Ивановичу, нелюб. Вспомнилось, как Шмит жал ему руку.

– Вы... Вы эгоист, – сказал Андрей Иванович со злостью.

– Э-го-ист? А вы что ж думаете, милый мальчик, есть альтруисты? Хо-хо-о! Все тот же эгоизм, только дурного вкуса... Ходят, там, за прокаженными, делают всякую гадость... для-ради собственного же удовлетворения...

«Ч-черт проклятый... А вот, что она сделала?.. Неужели... неужели ж ничего он не замечает, не чувствует?»

А Шмит смеялся:

– Э-го-ист... А барышня писала: «игоист», – они все ведь безграмотные... Ах, Господи, да кто ж это мне рассказывал? Сидят на скамейке, она зонтиком на песке выводит: «и...т», –

«Угадайте, – говорит, – это я написала о вас». Обожатель глядит-читает, конечно, «идиот», – что ж еще? И трагедия... А было-то «игоист»...

Марусе нужно было смеяться. Опять: заколдованная кладь, грузчики напряжились изо всех сил... Закусила губы, побледнел Андрей Иванович...

Засмеялась, наконец, – слава Богу, засмеялась. Но в ту же секунду раскололся ее смех, покатались, задрезжали осколочки, хлынули слезы в три ручья.

– Шмит, милый! Я больше не могу, не могу, прости, Шмит, я тебе все расскажу... Шмит, ты ведь поймешь, ты же должен понять! – иначе – как же?

Всплескивала маленькими своими детскими ручонками, тянулась вся к Шмиту, но не смела тронуть его: ведь она...

Шмит повернулся к Андрею Ивановичу, к искаженному его лицу, но не увидел в нем удивления. Шмитовы глаза узко сощурились, стали как лезвие.

– Вы... Вы уже знаете? Почему вы знаете это раньше, чем я?

Андрей Иванович сморщился, поперек глотки стал ком, он досадливо махнул рукой.

– Э, оставьте, мы с вами после! Вы поглядите на нее: вы ведь ей в ноги должны кланяться.

Шмит выдавил сквозь стиснутые зубы:

– Муз-зы-кант! Знаю я этих муз-зы...

Но услышал за собой легкий шорох. Обернулся, а Маруся-то как стояла, так – села на землю, поджав ноги, а глаза закрыты.

Шмит поднял ее на руки и понес.

14. Снежный узор

Каждый день вечером подходил Андрей Иваныч к Шмитовской калитке, брался за звонок и назад уходил: не мог, ну, вот, не мог он такой, проклятый, войти туда, увидеть Марусю. Как же не проклятый: зачем не убил в ту ночь генерала? Шмит бы убил.

Но и так – сидеть в постылой своей комнате и не знать, что там, – еще больше не мог.

«Господи, только бы как-нибудь увидеть, хоть немного, что она...»

И на пятый день к вечеру Андрей Иваныч придумал-таки. Напялил пальто, взял было пашку, – поставил опять в угол.

– Куда это вы, на ночь глядя? – спросил Гусляйкин и, показалось Андрею Иванычу, подмигнул.

– Я... Я не скоро приду, ложись спать.

На улице снег вчера выпал. Не настоящий, конечно, не русский: так только, сверху чуть-чуть.

«Снег – это не хорошо, хрустит, и от месяца – как днем, ясно... Все равно. Надо же...»

Андрей Иваныч зуб на зуб не попадал – от холода, что ли? Да нет: мороз – не Бог весть.

Окна у Шмитов завешаны были морозным самоцветным узором. Андрей Иваныч поднялся на цыпочки и терпеливо стал дыханием согревать стекло, чтобы увидеть, – Господи, если б хоть немного, хоть немного...

Теперь было видно: они в своей столовой. Дверь оттуда прикрыта неплотно, и в гостиной синий полусвет, смутно-острые тени от пальмы – за тем самым диваном.

Дрожал, глядел Андрей Иваныч в протаянный круг. Мерзли руки и ноги. Нескоро, может, через полчаса, может, через час, пришла мысль:

– Стоять и подглядывать, и подглядывать, как Агния какая-нибудь! До чего ж, значит, я... Надо уйти...

Отошел на шаг – и стал: уйти дальше не было сил. Вдруг видел: на снежном экране окна две тени заколыхались – большая и поменьше. Все забыл, кинулся к окну, затрясся, как в лихорадке.

Проталины в окне затянулись уж снежной дымкой, ничего не понять... «Господи, что они там делают, что они делают?»

Маленькая тень поменьше, стала на колени, а может упала, а может... К ней нагнулась большая тень...

Впился, всем своим существом ушел Андрей Иваныч в проклятую темную завесу, силится ее разорвать...

– Тр-рах! – стекло треснуло, на лбу ожог боли, мокрое. Кровь... Отскочил Андрей Иваныч, ошалело глядел на осколки у ног, стоял и глядел, как вкопанный, – бежать и не подумал.

Очнулся, – возле него был уж Шмит.

– А-а, так это вы, муз-з-зы-кант? Подсматривали-с?

Совсем близко от себя увидел Андрей Иваныч острые, бешеные Шмитовы глаза.

– Недурно! Вы здесь быстро ак-климатизировались.

«Поднять руку? Ударить? Но ведь правда же, но ведь правда...» – застонал Андрей Иваныч. И стоял. И молчал.

– На этот раз... Пош-шли вон!

Шмит захлопнул за собою калитку.

«...Сейчас же, – сейчас! Притти – и пулю в лоб... Сейчас же!» – побежал Андрей Иваныч домой. Лицо горело, как от пощечин.

Не мог теперь сказать: отпирал Гусляйкин или нет. Как будто нет, и все-таки уже сидел Андрей Иваныч за столом и глядел на револьвер, под лампой – такой противно-блестящий.

«Но ведь никто же абсолютно не видел. Но и не в этом даже дело. Главное, что ведь Маруся же одна останется – одна, с ним, ведь он, может, ее бьет, и если меня не будет...»

Он спрятал револьвер, запер торопливо на ключ. Дунул на лампу, так в сапогах прямо и бухнулся на постель.

– О, проклятый – о, проклятый трус!

...Склизкое, туманное-серое утро. Гуслийкин нещадно расталкивал Андрея Иваныча:

– Ваш-бродие, покупочки из города привезли.

– Что, что такое?.. Какие покупочки?

– Да ведь вы, ваш-бродь, сами о прошлой неделе заказывали. Ведь завтра-то, чать, Рождество Христово.

Залеченные сном мысли проснулись, заныли.

Рождество... Самый любимый праздник. Яркие огни, бал, чей-то милый надушенный платочек, украденный и хранившийся под подушкой... Все было, все кончилось, а теперь...

Было так: он канул на дно, на дне сидел, а над головой ходило мутное, тяжелое озеро. И оттуда, сверху, доходило все глухо, смутно, туманно.

Очень странно было Андрею Иванычу надеть на первый день мундир и идти с визитами. Но, заведенный каким-то заводом, пошел. Поздравлял, целовал руки, даже смеялся. Но сам слышал свой смех...

Где-то, – может у Нестеровых, может у Иваненко, может у Косинских – был спор о поросенке: как его на стол подавать? Бумажной бахромой надо его украшать или нет? Окорок, конечно, надо, всякому это ведомо, а вот поросенка-то как? И когда спросили спорщики Андрей-Иванычево мнение («Вы ведь недавно из России – это очень важно») – тут Андрей Иваныч и засмеялся, и услышал: «Я смеюсь? я?»

В каком-то доме, кажется, у Нечесов, из столовой были видны через открытые двери две супружеских, рядом стоящих, брюхатых кровати. Глядя туда и допивая, может, пятаю, может, десятую рюмку, Андрей Иваныч неожиданно спросил:

– А что теперь у Шмитов?

– Чудак, да ведь у вас такое сокровище – Гуслийкин. У него спросите, он в кухне у Шмитов день и ночь, – посоветовала кругленькая капитанша.

От коньяку, от водки, от налегшей плиты ночи – мутное озеро стало еще глубже, еще тяжелей.

Андрей Иваныч сидел после визитов у себя за столом, бессмысленно глядел на лампу, не слушал, что там такое рассказывает Гуслийкин, стоя у притолоки. Потом вспомнилось: сокровище. Загорелся Андрей Иваныч и спросил, не глядя:

– А у капитана Шмита давно был?

– Нынче бал. Как же. Там дела, там дела, и-и-и... Комедия!

Нельзя было слушать Андрею Иванычу – и еще больше нельзя не слушать. Весь полыхал от стыда – и слушал. И говорил:

– А дальше? Ну, а потом что?

А когда кончил Гуслийкин, – Андрей Иваныч, шатаясь, подошел к нему.

– К-как ты мне смел такие... такие вещи рассказывать, как ты смел?

– Ваш-бродь, да вы сами ведь...

– ...Как ты смел... про нее, про не-е, с-сволочь?

Хлясь, – так и ушла Андрей-Иванычева рука в бланманже какое-то, в кисельное: такие были у Гуслийкина жидкие щеки. Так это противно: как будто, вот, вымазана теперь вся рука.

15. Нечистая сила

Января двадцать пятого – мученицы Фелицаты память, генеральши Фелицаты Африкановны именины. И уж так у генерала Азанчеева заведено: обед на Фелицату и вечер званый. Да и не простой обед и вечер не простой, а всегда с закорючкой, с заковыристой загвоздкой какую-нибудь. То поднесет перед обедом всем офицерам по букету роз: «Пожалуйте, барыни, голубушки, сам для вас в оранжерее выводил, сам и рвал». Барыни, конечно, рады, благодарственны: «Ах, какой вы милый, мерси, какой запах...» Разок нюхнули, другой, да как зачихают все: розы-то табаком нюхательным позасыпаны! А то, вот, на последнем обеде в прошлом, стало быть, году такая была потеха. Обед состряпал генерал – просто на диво, а уж на особицу хвастался бульоном. И правда, – янтарный, как шампанское, островки прозрачного жира сверху, и засыпан китайской лапшой: и драконы тут, и звезды, и рыбы, и человечки. После обеда гостям уж ходить не в мочь, – повез генерал гостей кататься, обещал им какую-то диковину показать. И когда этак верст с пяток проехали, скомандовал генерал: «Стойте!» – и объявил всем своим верноподданным:

– А на бульоне-то, господа, не жир это, а касторка сверху плавала. А вам никому и в голову не влетело, ха-ха-ха!

Ну-у... И что тут только же было!

Надо быть, и в этом году что-нибудь уж такое да будет. Хоть и удрал генерал в город от Шмита, хоть и сидит там по сию пору, но не может того быть, чтобы к Фелицатину дню не вернулся. Как же, ведь уже капитан Нечеса, за вечным отпуском командира – старший, получил генеральский приказ согнать всех солдат и начать работы – поле утрамбовывать... Всякие эти занятия там да стрельбы, конечно, похерили: этого добра – каждый день не оберешься, а генеральшины-то именины раз в году, чай, бывают.

И рассыпались солдатики по всему по полю за пороховым погребом, – ровно муравьи серые. Еще слава-те, Господи, туман потянул да оттепело, а то бы землю никаким каком не угрызть. Оно, правда, грязновато, рассусолилась глина, мажется, липнет, и глядят все солдаты алахарями. Ну, да тут уж ничего не попишешь: служба. И рожутся, рожутся, тачки таскают, копошатся серые, смиренные, вдвое согнутые. Не то на поле бега будут, не то еще что: до Фелицатина дня – ни одной живой душе не известен генеральский секрет...

В сторонке, на чураке сидел Тихмень, отвернувшись: надзирал за работами. Все ему было тошно: перемазанные чумички-солдаты и смиренная их точнотакность. И туман – желтый гад ползучий, и пуще всего, сам он, Тихмень.

В самом деле: какой-то сопливец Петяшка, – и вдруг, все идет к черту. Раньше было все так ясно: были «вещи к себе», до которых Тихменю никакого не было дела, и были «отражения вещей» в Тихмене, Тихменю покорные и подвластные. И вот – не угодно ли! Прямо какая-то нечистая сила вселилась, ей-богу.

...Церковь, солнечный луч, Тихменя кто-то из больших уводит за руку, а он карачится, хочет еще послушать, как кликуша выкликает – любопытно и жутко: в одно время и своим кличет, бабьим голосом – и чужим, собачьим.

«Да. Разве не собачье все это? И эта гадость, любовь эта самая, и паршивый щенок Петяшка?»

А собачий голос – а нечистая сила – в Тихмене скулит:

«Петяшка... Ах, как же бы это узнать? Наверняка бы? Чей же Петяшка, в самом деле?» – Здравствуй, Тихмень! О чем замечтался?

Вздрыгнули оба Тихменя, – настоящий и собачий, – сомкнулись в одного, один этот вскочил.

Пред Тихменем в коробушке, в таратайке казенной, сидела капитанша Нечеса. Нынче в первый раз она встала с постели, и первый ее выезд был к генеральше, или, собственно, – к Агнии. Душа горела – все дотошно разведать, как и что было у генерала с Маруськой этой Шмитовой. «Ах, слава Богу, наказал ее Господь за гордыню, а то этакая принцесса на горошине...»

Посудачила, ямочками поиграла, укатила капитанша. И сейчас же на чураке опять уселось двое Тихменей, затолкались, заспорили.

Собачий Тихмень молвил:

– А капитан-то Нечеса остался ведь один теперь, да-с...

И с присущим ему собачьим нюхом отыскал какую-то, человеку невидную, тропку, побежал – и закрутил, и зарыскал по ней. Долго кружил и вдруг – стоп, нашел, вынюхал:

– Олух же, олух же я! Ну, конечно, пойти и спросить самого капитана. Уж он-то знает, чей Петяшка... Ему – да не знать?

Тихмень встал, поманил к себе пальцем Аржаного.

– Ну, как у нас дела?

В строю разиня – тут, в земляном деле, Аржаной – козырь и мастак, и за всех ответчик.

– Да так что, ваш-бродь, пошти все уж урки свои кончили. Рази там каких-нить штук-человек десять осталось...

– Штук-человек десять? Ну, ладно. – Тихмень махнул рукой: – Кончайте без меня, я пойду. Ты пригляди, Аржаной.

Торопливо Тихмень вбежал в Нечесовскую столовую. Слава Богу, капитан дома.

Перед капитаном стоял солдат. Капитан Нечеса очень важно отсыпал порошок. Подбросил, прикинул на ладони: годится.

– На вот, во здравие пей. Ну, что там, что там?..

Мнил себя Нечеса очень недурным лекарем. Да и солдат к нему веселей шел, чем к фельдшеру, или, там, к доктору: те-то уж больно мудрены.

Одно горе: уже пять лет утянул кто-то из пациентов у Нечесы «Школу здоровья», и остался у капитана только «Домашний скотолечебник». Делать нечего, пришлось по скотолечебнику орудовать. И, ей-богу, не хуже выходило: что ж, правда, велика ли разница? Устрой-ство одно, что у человека, что у скотины.

После медицины у капитана настроение бывало расчудесное. Пощекотал он Тихменю ребра:

– Ну, что брат-Пушкин?

– Да вот, хотел, было, я спросить...

– Нет, брат, ты сначала садись, выпей, а там – увидим.

Сели. Выпили, закусили. Опять собрался Тихмень с духом, издалика стал подъезжать: то да се, да как, мол, Петяшку будет трудно на ноги поставить... Но капитан Тихменю живо окорот сделал:

– За обедом? О высоких материях? Да ты спятил! Видать, в медицине ни бельмеса не понимаешь. Разве можно – такие разговоры, чтоб кровь в голову шла? Надо, чтоб вся в желудок уходила...

Ах ты, Господи! Что ты будешь делать? А тут еще влетели все восемь капитановых оборванцев и с ними Топтыгин на задних лапах – денщик Яшка Ломайлов.

Нечесята хихикали, шептались, заговор какой-то. Потом, фыркая, подлетела к Тихменю старшенькая девочка Варюшка:

– Дядь, а дядь, у тебя печенки есть? А?

– Пече-печенки, – залился капитан.

Тихмень морщился.

– Ну, есть, а тебе на что?

– А мы нынче за обедом печенку съедали, а мы за обедом...

– А мы за обедом... а мы за обедом... – запрыгали, захлопали, заорали, кругом понеслись ведьмята. Не вытерпел капитан, вскочил, закружился с ними, – все равно, чьи они: капитановы, адъютантовы, Молочковы...

Потом все вместе играли в кулючки. Потом составляли лекарства: капитан и ведьмята – доктора, Яшка Ломайлов – фершал, а Тихмень – пациент... А потом уж пора и спать.

Так и остался Тихмень на бобах: опять ничего не узнал.

16. Пружинка

Нарочно, смеху для, распустил Молочко слух, что генерал вернулся из города. И Шмит на этом поймался. Сейчас же закипел: «Иду!»

Он стоял перед зеркалом, сумрачно вертел в руках крахмальный воротничок. Положил на подзеркальник, позвал Марусю:

– Пожалуйста, погляди вот – чистый? Можно еще надеть? У меня больше нет. Ведь у нас ничего теперь нету.

Узенькая – еще уже, чем была, с двумя морщинками похоронными по углам губ, подошла Маруся.

– Покажи-ка? Да, он... да, пожалуй, еще годится...

И, все еще вращая воротничок в руке, глаз не спуская с воротничка – сказала тихо:

– О, если бы не жить! Позволь умереть... позволь мне, Шмит!

Да, это она, Маруся: паутинка – и смерть, воротничок – и не жить...

– Умереть? – усмехнулся Шмит. – Умереть никогда не трудно, вот – убить...

Он быстро кончил одеваться и вышел. По морозной, звонкой земле шел – земли не чуял: так напряжены были в нем все жилочки, как стальные струны. Шел злобно-твердый, отточенный, быстрый.

Ненавистно-знакомая дверь, обитая желтой клеенкой, ненавистно-сияющий генеральский Ларька.

– Да их преосходительство и не думали, и не приезжали вот ей-боженьку же, провалиться мне.

Шмит стоял упруго, готовый прыгнуть, что-то держал наготове в кармане.

– Да вот не верите, ваше-скородь, так пожалте, сами поглядите...

И Ларька широко разинул дверь, сам стал в стороне.

«Если открывает – значит нету, правда... Вломиться – и опять остаться в дураках?»

Так резко повернулся Шмит на пороге, что Ларька назад даже прынул и глаза зажмурил.

Шмит стиснул зубы, стиснул рукоятку револьвера, всего себя сдвинул в злую пружину. Разжаться бы, ударить! Побежал в казармы – почему, и сам того не знал.

В казарме – пусто-чистые из бревен стены. Все были там, за пороховым погребом, – что-то никому не ведомое устраивали к генеральшиным именинам. Один только дневальный сонно слонялся, – серый солдатик, все у него серое: и глаза, и волосы, и лицо – все, как сукно солдатское.

Шмит бежал вдоль бревенчатой стены, мигали в глазах оголенные нары. За погон что-то задело, – глянул на стену, вверх: там – на одной петельке качалась таблица отдания чести.

Шмит рванул таблицу:

– Эт-то что такое? Ты у меня...

И так ударил голосом на «эт-то», так развернул в этом слове мучительную ту пружину, что вышло, должно быть, страшным простое «это»: серый солдатик шатнулся, как от удара.

Но Шмит был уж далеко: этот серый – не то. Шмит бежал туда, где работали, – к пороховому, где было много.

Только трех солдатиков нынче, вот, и не погнали на работы: в казарме дневального, у погреба – часового и красильщика, который патронные ящики красил.

А красил ящики не какой-нибудь дуrolом, какой не знает и грунтолки положить, – красил ящики рядовой Муравей, своего дела мастер известный. Не то что-то, а даже когда спектакль ставили о запрошлом году: «Царь Максимьян и его непокорный сын Адольфа» – так даже для спектакля все рядовой Муравей расписывал. И он же, Муравей, на гармошке первый специалист: как он – страдательную сыграть никто не мог. Рядовой Муравей себе цену знал.

И, вот, стоял он маленький, чернявый, будто даже и не русский, стоял и душу свою тешил. Ящички-то зеленым помазать – это еще дело годит. А пока что, зеленью и подгрунтовкой белой, расписывал он на ящичке вид: речка, как есть живая ихняя Мамура-речка, а над речкой – ветлы, а над ве...

– А-ах! – как гром разразила его сверху Шмитова рука.

– Т-ты красишь? Ты... красишь? Я... тебе... что... велел?

И еще что-то кричал Шмит – может, и не слова даже, очень даже просто, что не слова, – кричал и бил прислонившегося к зарядному ящичку Муравья. Бил – и все больше хотелось бить: до крови, до стонов, до закотившихся глаз. Так же неудержно, как раньше хотелось без конца тоненькую Марусю подымать на руки, целовать – неудержно.

Со страху ли, или уж больно большим преступником видел себя Муравей, но только не кричал он. А Шмиту попритчилось тут упрямство. Нужно было одолеть, нужен был... нужен был – задыхался Шмит – нужен был крик, стон.

Шмит вытащил из кармана револьвер – и только тут Муравей заорал благим матом.

На поле за пороховым погребом услышали. Размахивали руками, прыгали через канавы, неслись сюда черные фигуры. И впереди был Андрей Иваныч: он дежурил сегодня с солдатами.

Шмит поглядел на Андрея Иваныча, что-то хотел ему сказать, но уж близко дышали, запалились, бежавши, солдаты. Шмит махнул рукой и медленно пошел.

Солдаты стояли в кругу вокруг лежащего, вытягивали головы, долго никто не насмелился подойти. Потом вылез, кряхтя, из середины неуклюже-степенный детина, присел на карачки к Муравью:

– Э-эх, сердешный, как он тебя, знычть, ловко оборудовал...

Андрей Иваныч узнал Аржаного. Аржаной приподнял голову Муравью и умело, как будто это не впервой ему, обматывал ситцевым платком.

«Да, это Аржаной, тот самый, что манзу убил. Тот самый...» – И задумался Андрей Иваныч.

17. Клуб ланцепупов

Все уж это знали, что Шмит совсем как бешеный бегаёт. И когда неожиданно-негаданно вошел он в столовую собрания, все, как по команде, притихли, прижухли, даром что навеселе были.

– Ну, что ж вы, господа? О чем? – Шмит оперся о стол с тяжелой усмешкой.

Все сидели, а он стоял: вот это будто, самое неловкое и было, вертелись. Кто-то не вытерпел и вскочил:

– Мы... мы ане-анекдот...

– Ка-акой анекдот?

«...Какой?» Как нарочно, вылетели все из головы: какой же. «А вдруг он нюхом учует, что мы говорили о нем и...»

Выручил капитан Нечеса. Поковырял сизый свой нос и сказал:

– А мы... это, да, армянский – знаешь? Одын ходыт, другой ходыт... двэнадцатый ходыт, что такой?

Шмит почти улыбнулся:

– А-а, двэнадцатый ходыт? Стало быть, капитан-Нечесовы дети...

Все подхватили, загоготали облегченно:

«Что же, он даже и ничего вовсе, даже и шутит...»

Шмит обвел их всех острыми, железно-серыми глазами, каждого ощупал отдельно и сказал:

– Господа, а не осточертело вам здесь? Не пора ли чего-нибудь этакое похлеще? А? Не ахнуть ли нам в город, в ланцепуповский клубик, например? Чуть ли не с год ведь не были.

Шмит глядел, искал: «Поедут – не поедут? А вдруг – поедут, и мы там где-нибудь встретим Аза... Азанчеева? Вдруг – ведь может же...»

Публика оживилась.

– Теперь? Да ведь о полночь уж... С ума спятить! – всю ночь переть туда – ехать... Ветер, качать будет...

– Ну-с? Как же? – усмешкой хлестнул Шмит Андрея Ивановича, уперся в широкий Андрея-Иванычев лоб.

Андрей Иванович вышел вперед и сказал, хотя и не знал даже толком, что за клуб такой ланцепупов, – сказал:

– Я еду.

Лиха беда начать, а там уж пойдет. Загалдели: «И я, и я!» Засуетились, застегивали шинели, пошли к берегу. Не поехал только Нечеса.

На воде был такой холодина, что все языки подвязались. Свистел, жуть нагонял ветер. Дремали, сидя. Без конца, всю ночь, колотилась головою волна о железный борт.

Подъезжали на рассвете. Медленно, презрительно, величаво выкатывалось из воды солнце. Сразу стало стыдно клевать носом, вскочили, глядели на непроснувшийся, розово-синий на горе город.

Растолкали на пристани китайцев-извозчиков и покатили гуськом на пяти дребезгливых подводах на самый край города.

На звонок дверь, как у Кощея во дворце, сама растворилась: людей не видать было. Шепотом, воровато вошли в приготовленную комнату, вида необычного, очень длинную: коридор, а не комната. У одной стены – узкий, весь в бутылках, стол. А насупротив, где окна – ничего: пусто, гладко.

Шмит налил полнехонек стакан рома, выпил, рука у него чуть дрожала, глаза узились и кололи.

– Ну, что ж, господа, жребий?

Кинули жребий. Выпал орел четверым: Шмиту, Молочке, Тихменю, Нестерову. Отчего-то розовость Молочкова мигом полиняла.

– Я бросаю! – крикнул Шмит и кинул за окно большой, весело сверкнувший золотой.

На раскрытом окне опущена и парусом вздувается штора. Стали у окна попарно – справа и слева, вынули револьверы, вытянулись, ждали. Резкий, кованый профиль Шмита, острый, выдвинутый вперед подбородок, закрытые глаза...

– Но зачем же они... – поднял было голову Андрей Иванович: ничего не понимал.

На него цыкнули: притих. У всех были красные, дикие глаза, с прозеленью лица: может, от бессонной ночи. Вихрились какие-то несуразные обрывки слов в головах. Лили в себя спирт. Сердце – в нестерпимых, сладко-мучительных тисках.

Плыл вверх солнечный квадрат на белой занавеске. Все так же молча сидели. Не знал никто: час прошел, или два, или...

Шаги по тротуару под окном. Какая-то одинаковая у всех судорога – и четыре нестройных, вразброд, выстрела.

Вскочили, взбудораженно загалдели, все кинулись к окну. У самой стены лежал на спине в ватной синей кофте манза: нагнулся было за новеньким, золотым. Но поднять, должно быть, не успел.

Уж что было дальше, не видал Андрей Иванович. От ночи ли бессонной, от винного ли дурмана, или еще от чего, но только сомлел он. Как стоял у окна, так тут же на пол и сел.

Очнулся: совсем близко над ним Шмитовы железно-серые глаза.

– Разве мыслимо? – Шмит встал с колен, выпрямился. – Офицер, как институтка, на кровь не может глядеть. Я всегда это говорю: офицер в мирное время должен учиться убивать...

Андрей Иванович медленно поднимался с полу – шатнулся – схватился за Тихменя.

Тихмень взял его под руку, повел к выходу:

– Пойдемте, голубчик, пойдемте. Вам еще рано, погодите...

Вышли в маленький голый садик с почернелым забором, с печально-непокрытой землей. Только недавно еще вышло на небо солнце, а уж затягивался смертной пленкой тумана его зрак.

Тихмень сбросил фуражку, провел рукой по зализам своим, глянул вверх:

– Скверно. Все скверно. Так скверно! – сказал он скрипуче. Махнул рукой, и опять сидел молча, слишком длинный, непрочный. Полз ржавый, ржавящий, желтый туман.

– Хотя бы война какая, что ли... – буркнул в нос Тихмень.

– Хороши мы будем на войне!

Хотел это только сказать или сказал – и сам того не знал Андрей Иванович: в голове коло-тилось, клочьями несло стремглав, путалось.

18. Альянс

Пост великий, мокреть, теплынь. Чавкает под ногами грязь, – так чавкает, что вот-вот человека проглотит.

И глотает. Нету уж сил карачиться, сонный тонет человек и, засыпая, молит: «Ох, война бы, что ли... Пожар бы, запой бы уж, что ли...»

Чавкает грязь. Гиблые бродят люди по косе, в океан уходящей. Чертаются на черном вдалеке белые полосочки – корабли. Ах, не завернет ли какой-нибудь и сюда? С Великого поста ведь всегда заходить начинают. Вот, в прошлом году уж целых два в феврале зашли, – заверни, миленький, ах, заверни... Нет! Ну, так, может быть – завтра?

И завтра пришло. Как снег на голову, как веселый снег – свалились французы.

В тот час сидели на пристани Молочко и Тихмень, вспоминали клуб ланцепупов, глядели вдаль. Вдали дымок, и все ближе, все быстрее – и уж вот он, весь виден – крейсер, белый и ладный, как лебедь, и французский флаг. Тихмень оробел и наутек пустился. А Молочко остался, загарцевал, выиграл: он первым все узнает, он первым – встретит, он первым – расскажет!

– Я счастлив приветствовать вас на далекой, хотя и русской... то есть, на русской, хотя и далекой земле...

Вот как выразился Молочко: он лицом в грязь не ударит. Ведь у него француженка-гувернантка была...

Французский лейтенантик, которому сказана была Молочкова речь, не улыбнулся – сдержался:

– Наш адмирал просит разрешения осмотреть батарею и пост.

– Господи, да я... Я побегу, я – в момент, – и помчался Молочко.

Но к кому сунуться-то, к кому бежать? Никого из начальства нету, за старшего Нечеса остался. А Нечеса очень невразумителен бывает, коли не в пору его после обеда взбудить. Беда да и только!

– Капитан Нечеса, капитан... Вставайте же, французский адмирал приехал, желает пост осмотреть...

– Хрр... пфф... хрр... Ко-кого?

– Адмирал, говорю, французский!

– К ч-чертовой матери адмирала, спать хочу. Хрр... пфф...

Молочко стянул с капитана накинутый сверху китайский халат, крикнул Ломайлова:

– Ломайлов, квасу капитану!

Но Ломайлова нету: ушел нынче Ломайлов трубы чистить. Принесла квасу сама капитанша, Катюшка.

Капитан хлебнул, кой-какие слова стал понимать:

– Францу-узы? Да что они, спятили? Зачем?

– Капитан, поскорей, ради Бога! Ведь у нас с французами альянс... Ей-богу, нагорит!

– О, Господи, откуда? За что? Солдаты, солдаты-то каковы с работами этими генеральскими! Молочко, гони туда, к пороховому, в сей секунд. Всех чтобы, дьяволов, в лес угнали! Ни один чтобы с-собачий сын носу не показал!

И вот, капитан Нечеса стоит, наконец, на пристани, распахнута шинель, на мундире все регалии.

Главная спица в колеснице – Молочко – вертится, сверкает, переводит. Адмирал французский не первой уж молодости, а тонкий да ловкий, как в корсете. Вынул книжечку, любопытствует, записывает.

– А какие у вас порции солдатам? Так, так. А лошадям? Сколько рот? А сколько прислуги на орудие? А-а, так!

Пошли всем кагалом в казармы. Там уж успели прибраться, почистить: ничего себе. Только дух очень русский стоит. Заторопились французы на вольный воздух.

– Ну, теперь их только к пороховому – и все, и слава Богу...

И оставался уж один до порохового квартала, как из дома поручика Нестерова вылез Ломайлов. Кончил трубы чистить, очень аккуратно все почистил, и в зале, и в спальне. Кончил – и шел себе до дому с метлой, в отрепьях – лохматая, черная образина.

Адмирал любопытно вскинул пенсне.

– А-а... А это кто же? – и повернулся к Молочке за ответом.

Молочко, утопая, взглядом – молил Нечесу, Нечеса свирепо-символически ворочал глазами.

– Это... э-это ланцепуп, ваше превосходительство! – вякнул Молочко, вякнул первое, что в голову взбрело. Говорили перед тем с Тихменем о ланцепупах, ну и...

– Lan-se-roupe? Это... что ж это значит?

– Это... ме-местный инородец, ваше превосходительство.

Адмирал очень заинтересовался:

– Во-от как? Я и не слыхал такого наименования до сих пор, а этнографией очень интересуюсь...

– Недавно только открыты, ваше превосходительство.

Генерал записал в книжку:

– Lan-se-roupe... Очень интересно, очень. Я сделаю доклад в Географическом обществе. Непременно...

Нечеса задыхался от нетерпенья узнать, что такое вышло и что за разговор странный – о ланцепупах.

А адмирал – час от часу не легче – уж новую загогулю загнул Молочке:

– Но... почему же я не вижу ваших солдат, ни одного?

– О-о-они, ваше превосходительство, в... в лесу.

– В лесу-у? Все? Гм, зачем же?

– Их, ваше превосходительство, ланце-ла-ланцепупы эти самые... То есть они все отправлены, наши солдаты, то есть, на усмирение, значит, ланцепупов...

– Ах, так это, значит – не совсем еще покоренный народец? Да у вас тут сюрпризы на каждом шагу!

«Сюрпризы! Какие, вот, от тебя еще будут сюрпризы? Заврюсь, запутаюсь, погублю...» – Молочку уж цыганский пот со страху прошибал.

Но адмиралу было довольно и этих открытий. Ходил теперь – и только головою кивал: «Хорошо, очень хорошо, очень интересно». Ведь не каждый это день случается – открывать новые племена.

19. Мученики

И откуда только прыть взялась у такого человека губошлепого, как капитан Нечеса? Надо быть – с радости, что негаданно все так ловко сошло с французами. И затеял Нечеса устроить в собрании французам пир на весь мир.

Французы согласились: никак нельзя, альянс. И пошла писать губерния. В квартирах офицерских запахло бензином, денщики бросили все дела – наворачивали офицершам папи-льотки, а Ларька генеральский разносил приглашения.

Увидала Маруся, как Ларька в калитку к ним вкатился, так и заметалась, загорелась, забила. Как на ладони, вот встал перед ней вечер тот проклятый: заря-лихоманка, семь крестов, они с Андрей Ивановичем вдвоем, и Ларька подает письмо генеральское.

– Шмит, не пускай его, Шмит, не пускай, не надо!

В Шмите сжалась пружинка, затомила, заныла, запросила мук.

Шмит усмехнулся:

– Не мочь – надо раньше было. А теперь уж моги, – нарочно открыл дверь из столовой и крикнул в кухню: – Эй, кто там, давай-ка сюда!

Ларькино имя все же не смог Шмит назвать. Ларька вкатился медно-сияющий, подал билетец, рассказывал:

– И хлопот же, и хлопот с французами этими, беда!

Заставил себя Шмит, расспрашивал нарочно, выдал даже улыбку. И Ларька вдруг насмелился:

– А что, ваше-скородие, осмелюсь спросить: французы водки-то принимают, али как? А то ведь, что ж мы с ними...

И даже засмеялся Шмит. Засмеялся – и звенит все выше, на самых высоких верхах звенит, не сорваться бы...

А Маруся – у окна, к Ларьке спиной, – уйти не посмела, – стоит и плечики худенькие ходуном ходят. Видит Шмит – и смеяться перестать не может, все выше звенит, все выше...

Одни. Кинулась к Шмиту, на холодный пол перед ним, протянула руки:

– Шмит, но ведь я же для тебя... для тебя то сделала. Ведь мне же было ужасно, отвратительно, – ведь ты веришь?

Шмита свело судорогой-улыбкой:

– И в сотый раз скажу: значит – было не достаточно мерзко, не достаточно отвратительно. Значит, жалость ко мне была сильнее, чем любовь ко мне...

И не знает Маруся, что сделать, чтобы он... Туго заплетены пальцы... Господи, что же сделать, если у нее – любовь, а у него – ум, и ничего не скажешь, не придумаешь. Но неужели же он сам верит в то, что говорит? Ах, ничего, ничего не понять! Заковался, замкнулся, не он стал, не Шмит...

Маруся встала с холодного пола, тихо ушла в зал. Пугали и томили темные углы. Но не так, как раньше: не Бука лохматый мерещился, не Полудушка – веселый сумасшедший, не Враг – прыгучий нечистый, – мерещилось Шмитово чужое, непонятное лицо.

Зажгла одну лампу на столе; влезла на стул, зажгла стенную. Но стало только еще больше похоже на тот вечер: тогда тоже ходила одна и зажигала все лампы.

Потушила, пошла в спальню. «У Шмита – все носки в дырках, а я целый месяц все только собираюсь... Не распускаться, нельзя распускаться».

Села, нагнулась, штопала. Досадливо вытирала глаза: все набегало на них, застило, работы было не видать. Было уж поздно – о полночь, когда кончила всю штопку. Выдвинула ящик, укладывала, на комод трепетала свеча.

Пришел Шмит. Тяжкий, высокий, мерял спальню взад и вперед, скрипел пол. Пружинка та самая билась внутри, мучила и мук искала.

Бросил камень Марусе:

– Ложись, пора.

Она разделась, покорная, маленькая. В рубашке – совсем, как дитенок: такая тонкая, такие ручки худенькие. Только две эти старушечьих морщинки по углам губ...

Подожел Шмит, дышал, как запаленный зверь. Маруся, с закрытыми глазами, лежа, сказала:

– Шмит, но ведь... Шмит... ты любишь ведь? Ты ведь это хочешь – не так, не просто, как...

– Любить? Я любил...

Шмит задохнулся. «Марусенька, Марусенька, ведь я умираю. Марусенька, родная, спаси!» Но вслух сказал он:

– Но ведь ты продолжаешь уверять, что меня любишь, хм! Ну, и довольно с тебя. А я... просто хочу.

«Нет, это он так, притворяется... Было бы ужасно...»

– Шмит, не надо, не надо же, ради-ради...

Но со Шмитом совладать ей разве? Измял всю, скрутил, силком заставил. Мучительно, смертно-сладко было терзать ее, дитенка худенького, милого, ее – такую чистую, такую виноградную, такую любимую...

Так унижительно, так больно было Марусе, что последний, самый отчаянный не вырвался, а ушел крик вглубь, задушенный, пронизал злой болью. И на минуту, на секунду одну озарил далекий сполох: поняла на секунду Шмитову великую злобу, сестру великой...

Но Шмит уж уходил. Ушел в гостиную – там спать. А может, и не спать, а ходить всю ночь напролет и глядеть в синие, совиноглазые окна.

Лежала Маруся одна, во тьме, в пустоте. Исходила слезами неисходными.

«Он сказал: вы великая, – вспомнила Андрея Иваныча. – Какая же великая: жалкая, стыдная. Если б он знал все, не сказал бы...»

Как знать.

20. Пир на весь мир

Музыка: пять горнистов-солдат и рядовой Муравей с гармошкой. Эх, музыка, вот, и подкузьмила малость, а то бы – совсем хорошо. На стенах ветки зеленые, флажки трепыхаются. Лампы от усердия прикапчивают даже. На парадных шарфах серебро светит. На барынях брякают брошки, браслеты бабушкины заветные. И не лучше ли всего розово-сияющий распорядитель Молочко?

Но Тихмень на все глядел скептически – был он еще совершенно трезв:

«Все это, конечно, ложь. Но это блестит, да. А так как единственная истина – смерть, и так как я еще живу, то и надо жить ложью, поверхностно. Значит, правы Молочки, и надо быть пустоголовым... Но практически? Ах, я сегодня что-то путаю...»

Мимо Тихменя на музыкантов ринулся Молочко:

– Туш, туш! «Двуглавый Орел»! Идут, идут...

Музыка заверещала, задудела, дамы поднялись на цыпочках. Вошли французы – все затянутые, надушенные, поджарые, ладные во всех статьях.

Тихмень сперва рот разинул вместе со всеми на минутку. Потом выделил, обмыслил: французы – и наши. Знакомые залосненные наши сюртуки, оробелые лица, перекрашенные платья дам...

«Да... И вот, если ложь окажется еще один раз лжива... Ну да, эн квадрат, минус на минус – плюс... Практически, следовательно... Да, что бишь? Я путаюсь, путаюсь...»

– Слушайте-ка, Половец, – дернул Тихмень Андрея Иваныча, – пойдемте пока что по одной тюкнем: тошнехонько чтой-то...

Да, и Андрею Иванычу было нужно выпить. Хлопнули по одной. В буфетной голошил коньяк Нечеса – для храбрости: как-никак – он ведь за главного.

– Шмит-то нынче веселый какой, у-у! – пробурчал Нечеса сквозь мокрые усы.

– Как, разве тут Шмит? – Андрей Иваныч кинулся обратно в зал.

Затомила в сердце горько-сладкая томь: не Шмита искал он, нет... Проплывали мимо французы – в легчайшем пухе вальса мелькнул потный и красный от счастья Молочко.

«Наврал Нечеса – и к чему? Нет ее. Никого нету...»

И вдруг – громкий, звенящий железом смех Шмита. Кинулся туда. Вихрились, кружились, толкали пары; казалось, не добратся.

Шмит и Маруся стояли с французским адмиралом. Шмит поглядел сквозь Андрея Иваныча – сквозь пустой стакан, выпитый весь до дна.

У Андрея Иваныча глаза заволкло туманом, он быстро повернулся от Шмита к Марусе, взял тоненькую ее ручку, держал, – ах, если бы было можно не отпускать! «Но почему же дрожит, да, конечно – дрожит у ней рука».

По-французски через пень-колоду понимал Андрей Иваныч, вслушался.

– ...Жаль, нет генерала, – говорил Шмит, – удивительнейший человек. Вот моя жена – большая почитательница генерала. Я положительно ревную. В одно прекрасное время она может...

Французы улыбались, Шмитов голос звенел и стегал. Маруся стала вся – как березка плакучая – долу клониться. И упала бы, может, но учуял Андрей Иваныч – один он и увидел – поддержал Марусю за талию.

– Вальс, – шепнул он, не слышал ответа, унес ее легкими кругами. «Подальше от Шмита – проклятого, подальше... О, до чего ж он...»

– Как он мучит меня... Андрей Иваныч, если бы вы знали! Вот эти три дня, и сегодня. И три ночи перед балом...

Показалось Андрею Иванычу, говорила Маруся откуда-то снизу, из глубины, засыпанная. Взглянул: эти две морщинки, похоронные около губ – о, эти морщинки...

Сели. Маруся смотрела на кенкет, глаз не отрывала от пляшущего, злого пламенного языка: оторвать, отвести глаза – и все кончено, и плотину прорвет, и хлынет...

В вальсе Шмит подходил к ним. Маруся, улыбаясь – ведь на них глядел Шмит – улыбаясь, сказала чужие, дикие слова:

– Убейте его, убейте Шмита. Чем такой... пусть лучше мертвый, я не могу...

– Убить? Вы? – поглядел Андрей Иваныч, не веря, в ужасе.

Да, она. Паутинка – и смерть. Вальс – и убейте...

Шмит крутился с кругленькой капитаншей Нечесой, крутился упругий, резкий, скрипел под ним пол. Сузил глаза, усмехался.

Андрей Иваныч ответил Марусе:

– Хорошо.

И со стиснутыми зубами повлек, опять закружил – ах, до смерти бы закружиться...

Тут, впрочем, не от вальсов больше головы кружились, а от выпитых зельев. В кои-то веки, с французами, за альянс-то, да и не выпить? Это бы уж – последнее дело.

Пили и французы, да как-то по-хитрому: пили – а душой, вот, не воспринимали. Да и пили больше полрюмки, и смотреть-то нехорошо. То ли дело – наши: на совесть, по-русски, нараспашку. Сразу видать, что пили: соловые ходят, развеселые, мутноглазые.

Вот уж когда чуял Тихмень свой рост: страсть это неудобно высокому быть. Маленькому, если и качнуться – оно ничего. А высокий – колокольня – выгибается, вот-вот ухнет, страшно глядеть.

Зато, прислонившись к стенке, Тихмень почувствовал себя очень прочным, сильным и смелым. И потому, когда, пошатываясь, шел мимо Нечеса, Тихмень решительно ухватил его за полу. «Нет, уж, теперь баста, теперь я спрошу...»

– Капит-тан, скажи ты мне по с-совести, ну, ради Господа самого: чей Петяшка сын? С тоски – понимаешь, с то-ски! – помираю; мой Петяшка или, вот, не мой...

Капитан был нарезавшись здорово, однако – что-то тут неладно – понял:

– Да ты... да ты, брат, это про что, а?

– Гол-лубчик, скажи-и! – Тихмень тихо и горько заплакал. – Последняя ты у меня надежда, хм! хм! – хлюпал Тихмень. – Я Катюшу спросил, она не знает... Господи, что ж мне теперь де-елать? Голубчик, скажи, ты знаешь ведь...

Тупо глядел Нечеса на качавшийся у самых его глаз Тихменев нос, с слезинкой на кончике, – так бы, вот, взял и поправил.

Влекомый высшей силой, Нечеса крепко взял двумя пальцами Тихменев нос и начал его водить вправо и влево. И столь это было для Тихменя сюрпризом, что перестал он хныкать и покорно, даже с некоторым любопытством, следовал за капитановой рукой.

И уж только когда услышал сзади крики: «Тихмень-то, Тихмень-то», – понял и рванулся. Кругом все хваталось за животы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.